

Наброски углем. Генрик Сенкевич

ИЛИ ЭПОПЕЯ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ЧТО ПРОИСХОДИЛО В БАРАНЬЕЙ ГОЛОВЕ»

ГЛАВА I,

в которой мы знакомимся с героями и начинаем надеяться, что должно что-то произойти

В деревне Баранья Голова, в канцелярии волостного войта, царила полнейшая тишина. Войт, пожилой крестьянин по имени Францишек Бурак, сидел за столом и с большим старанием выводил на бумаге какие-то каракули, между тем как писарь, пан Золзикевич, человек молодой и преисполненный надежд, стоял у окна, ковырял в носу и отмахивался от мух.

Мух в канцелярии было не меньше, чем на скотном дворе. Все степы до того были засижены им, что потеряли свою первоначальную окраску. Ими же были испещрены стекло па картине, висевшей над столом, бумаги, печати, распятие и канцелярские книги.

Мухи преспокойно ползали и по войту, как по какому-нибудь обыкновенному заседателю, но в особенности их привлекала благоухающая гвоздичной помадой голова пана Золзикевича... Над этой головой обыкновенно носился целый рой мух, которые садились на пробор, образуя живые движущиеся черные пятна. Время от времени пан Золзикевич осторожно поднимал руку, а затем быстро ее опускал; слышалось хлопанье ладони по голове, мухи с жужжанием взлетали вверх, а пан Золзикевич, наклонив свою шевелюру, извлекал пальцами из волос трупы и бросал их на пол.

Было четыре часа дня, в деревне царила тишина, так как люди ушли на работу, только во дворе канцелярии терлась о стену корова и время от времени показывалась в окне ее морда с сопящими ноздрями и слюной, свисающей с губы.

Защищаясь от мух, она то и дело откидывала свою тяжелую голову, причем задевала рогами за стену. Тогда Золзикевич высовывался из окна и кричал:

– Пошла... А, чтоб тебя...

Затем смотрелся в зеркальце, висевшее у окна, и снова начинал флегматично ковырять в носу.

Наконец войт прервал молчание:

– Пап Золзикевич, напишите-ка вы этот «рапурт», что-то у меня выходит нескладно. Писарь все ж таки вы!

Но пан Золзикевич был в дурном настроении, а когда у него бывало дурное настроение, войту приходилось все делать самому.

– Так что ж, если писарь? – возразил он пренебрежительно. – Писарь обязан писать начальнику или комиссару, а к такому же войту, как вы, сами и пишете.

С минуту помолчав, он прибавил с величественным презрением:

– А что мне какой-то войт? Мужик – и только! Мужика хоть медом мажь... мужик все останется мужиком! – И он опять посмотрелся в зеркало и поправил волосы.

Войт был задет за живое и ответил обиженным тоном;

– Ишь ты какой! Будто я с «конюссаром» чай не распиваю?

– Эка важность – чай! – небрежно возразил Золзикевич. – Да, пожалуй, еще и без рому?

– А вот и неправда, с ромом!

– Да хоть бы и с ромом, все равно я рапорт писать не стану,

Войт рассердился.

– Если уж вы такой деликатный «физик», – сердито сказал он, – к чему было проситься в писаря?

– У вас, что ли, я просился? Это я только по знакомству с начальником...

– Хорошо знакомство! А когда он сюда приезжает, вы и рот не смеете разинуть!

– Эй, Бурак, берегитесь! Чересчур много воли даете языку. А у меня и без того уж ваши мужики поперек горла стоят вместе с этим писарством. Человек с образованием, живя с такими, как вы, только грубеет. Вот рассержусь, так и писарство, и вас пошлю ко всем чертям!

– Ого! А что же вы будете делать?

– Что? Да уж зубы на полку не положу. Человек с образованием нигде не пропадет. О человеке с образованием вам беспокоиться нечего. Вчера только ревизор Столбицкий мне говорит: «Ох ты, Золзикевич, из тебя бы вышел прямо черт, а не только помощник ревизора, – ты ведь чуешь, где трава растет». А помощник ревизора – это что? Только по дворам ездить да с шляхтичами в карты играть. А там окажешь кому-нибудь снисхождение, так у тебя и карман разбухнет. А взять винокурню... так в какой же винокурне нынче нет мошенничества? Или у нас в Бараньей Голове пан Скорабевский не вкручивает? Нашли дурака! Плевать мне на ваше писарство! Человек с образованием...

– Ишь как! Без вас конец свету не придет.

– Свету конец не придет, да вы-то будете помазок в деготь макать да помазком в книгах писать, а за это вас так взгреют, что вы хоть в бархат разоденетесь, и то почувствуете.

Войт почесал затылок.

– Ну, и вы тоже, чуть что, сейчас на дыбы...

– А вы зря не болтайте!

– Что верно, то верно...

И опять наступила тишина, только перо у войта тихо скрипело по бумаге. Наконец войт выпрямился, вытер перо о кафтан и: сказал:

- Ну, слава богу, кончил!
- Прочитайте-ка, что вы там намарали.
- Зачем марать? Я написал в точности все, что требуется.
- Читайте, говорю!

Войт взял бумагу и, держа ее обеими руками, начал читать:

– «Войту Вжецёндза. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь. Начальник приказал, чтобы рекрутские списки были сейчас после божьей матери, а тут все ментрики в приходе у священника, а также равно наши ребята, что ходят на жнитво, понятно? – чтобы были вписаны; и их прислать перед божьей матерью, как сравняется восемнадцать лет, а в случае если этого не сделаете, получите по башке, чего себе и вам желаю. Аминь».

Почтенный войт каждое воскресенье слышал, как ксендз именно этими словами кончал свою проповедь, и такое окончание казалось ему не только необходимым, но и отвечающим всем, требованиям хорошего слога; между тем Золзикевич, прослушав до конца, расхохотался.

- Разве так пишут? – спросил он.
- Напишите вы получше.
- И напишу, а то мне стыдно за всю Баранью Голову.

Сказав это, Золзикевич сел, взял перо, описал им несколько кругов в воздухе, словно для разгона, и начал быстро писать. Через несколько минут уведомление было готово; тогда автор, откинув волосы, прочитал вслух:

– «От войта Бараньей Головы войту Вжецёндза.

Так как по распоряжению начальства рекрутские списки должны быть готовы, к такому-то числу такого-то года, то уведомляю войта Вжецёндза, чтобы метрики крестьян деревни Баранья Голова., находящиеся в приходской канцелярии, из оной канцелярии вытребовать и выслать в деревню Баранья Голова в кратчайший срок. Крестьян же деревни Баранья Голова, находящихся на работе во Вжецёндзе, в тот же день доставить».

Войт жадно ловил каждый звук, и лицо его при этом выражало восторг и почти религиозное благоговение. Все это казалось ему прекрасно, торжественно и вместе с тем сугубо официально. Взять, к примеру, хотя бы начало: «Так как рекрутские списки» и т. д. Войта неизменно восхищали эти «так как», но научиться им он никак не мог. Начало, впрочем, ему еще кое-как удавалось, но уж дальше – ни с места. У Золзикевича же все шло гладко кате по маслу. Лучше его не могли бы написать и в уезде. Оставалось только покоптить печать, приложить ее к бумаге так, чтобы стол затрещал, – и готово.

- Что и говорить, одно слово – голова! – сказал войт.
- Еще бы, – ответил польщенный Золзикевич, – недаром писаря пишут книги.

– А разве вы тоже пишете книги?

– Что же вы спрашиваете, будто сами не знаете? А кто же пишет канцелярские книги?

– Это правильно,– ответил войт и, подумав, прибавил: – Теперь списки мигом придут.

– Вы вот смотрите, сейчас же избавляйтесь от всех бездельников в деревне.

– Избавишься от них!

– А я вам говорю, начальник жаловался, что в Бараньей Голове народ беспутный. На складчину, говорит, ничего не дают, только пьянствуют. А Бурак, говорит, им потворствует и еще ответит за это.

– Будто я не знаю, чуть что – все мне отвечать. Когда Розалька Ковалиха родила, суд присудил, ей всыпать двадцать пять розог, чтоб в другой раз неповадно было: дескать, нехорошо это для девки. А кто присудил? Я? Не я, а суд. А мне что до этого? По мне, пусть бы хоть все рожали. Присудил-то суд, а виноват выхожу я, «Ты что, не знаешь,– говорит начальник,– что теперь телесные наказания отменены?» И сразу бац меня по башке. «Не знаешь, что никого нельзя бить?» И снова бац меня. Такая уж моя доля.

В эту минуту корова с такой силой ударила в стену, что содрогнулась вся канцелярия.

– Э, раздуй тебя горой! – с негодованием крикнул войт.

Между тем писарь, усевшись на стол, снова начал ковырять в носу.

– И поделом вам! – наконец проговорил он. – Чего вы смотрите? И сейчас будет так. Это пьянство до добра не доведет. Одна паршивая овца все стадо портит! Разве неизвестно, кто в Бараньей Голове всем управляет и людей толкает в корчму?

– Это уж как знать, а насчет питья, так иному после работы непременно нужно выпить.

– А я вам говорю: избавьтесь от Репы – и все хорошо будет.

– Что же мне, по-вашему, башку ему свернуть, что ли?

– Башку ему не свернешь, а теперь составляются рекрутские списки, внести в список – и пусть тянет жребий.

– Да ведь он женатый, у него уже мальчишка годовалый.

– Кто же об этом узнает? Жаловаться он не пойдет, а пойдет, все равно никто его слушать не станет. Когда набор идет, никому недосуг.

– Ох, пан писарь, пап писарь! Видать, тут дело не в пьянстве, а в жене Репы... Да ведь это большой грех!

– А вам-то что? Вы вот смотрите, ведь и вашему сыну уже девятнадцать лет, значит, и ему тянуть жребий.

– Знаю я это, а сына своего не отдам. Если нельзя будет иначе, так и выкуплю.

– Ишь ты, какой богач нашелся!

– Подкопил я малость медяков, хоть и не больно много, да авось хватит.

– Восемьсот рубликов медяками придется платить.

– Раз сказал – заплачу, так хоть и медяками, а заплачу! А там бог даст, останусь войтом, так с божьей помощью годика за два опять соберу.

– Это еще неизвестно, соберете вы или не соберете. Мне ведь тоже нужно, и я не допущу, чтобы вы всем один пользовались. У человека образованного расходов всегда больше, нежели у простого, а мы запишем Репу вместо вашего сына, а вы денежки сбережете... Восемьсот рублей на улице не валяются.

Войт призадумался. Надежда сберечь такую значительную сумму приятно улыбалась ему.

– Да ведь за это не похвалят,– наконец проговорил он.

– Уж это не вашего ума дело.

– Вот я и боюсь: вы своей головой надумаете, а свалится все на мою голову.

– Не хотите, так платите восемьсот рублей...

– Да разве я говорю, что мне их не жалко!

– Если вы думаете, что соберете их опять, так нечего и жалеть. Но вы не особенно рассчитывайте, что останетесь войтом. Еще про вас не все знают, а вот узнают то, что я знаю...

– Да ведь канцелярских вы больше берете, чем я,– возразил войт.

– Я не о канцелярских говорю, а о прежних делах...

– Этого я не боюсь! Что мне приказывали, то я и делал.

– Ну, оправдываться вы будете в другом месте.

Не прибавив больше ни слова, писарь надел свою зеленую клетчатую фуражку и вышел из канцелярии.

Солнце стояло уже низко; люди возвращались с полей. Первыми навстречу писарю попались пять косарей с косами за плечами, они поклонились ему и сказали обычное: «Слава Иисусу», но пап писарь только кивнул им своей напوماженной головой, а «Во веки» не ответил, полагая, что образованному человеку это не подобает. Об образованности пана Золзикевича знали все, и сомневаться в ней могли лишь злые или недоброжелатели, для которых всякая личность, возвышающаяся над средним уровнем, словно бельмо на глазу и не дает им спокойно спать.

Если бы у нас, как подобает, издавались биографии всех наших знаменитостей, то из биографии этого незаурядного человека, портрета которого – не понимаю почему – не поместил пока ни один из наших иллюстрированных журналов, мы бы узнали, что первоначальное образование он получил в Ословицах, столице Ословицкого уезда, к которому принадлежала и Баранья Голова. На семнадцатом году юный Золзикевич дошел уже до второго класса и, вероятно, с такой же быстротой подвигался бы и дальше, если бы не наступили бурные времена, положившие раз и навсегда конец его научной карьере.

С горячностью, свойственной молодости, Золзикевич, которого и раньше преследовала несправедливость учителей, став во главе сочувствующих товарищей, устроил своим обидчикам кошачий концерт. Затем изорвал книги, изломал линейки, перья и, покинув храм Минервы, ринулся в объятия Марса и Белоны.

Это была пора в его жизни, когда брюки он носил не па голенищах, а в голенищах, пора, когда он пел с жаром, пышущим горькой и страшной иронией: «О, честь вам, паны магнаты!» Кочевая жизнь, песни, облака табачного дыма, романтические приключения на постоях с молоденькими девушками, которые носили крестики на груди и ничего не жалели для «родины и ее храбрых защитников», – такая жизнь, говорю я, гармонировала со страстной и мятежной душой молодого Золзикевича. Он находил в ней воплощение своей мечты, владевшей его умом с давних пор, когда он еще в школе, под партой, зачитывался «Ринальдо Ринальдини» и другими произведениями, которые развивали ум и сердце и пробуждали воображение пашей молодежи.

Но у этой жизни были свои темные, верное, рискованные, стороны. Бешеная отвага слишком увлекала Золзикевича, увлекала настолько, что – хоть этому верится с трудом – еще до сего дня показывают в Вжецёндзе плетень, через который не мог бы перескочить самый лихой конь, а пан Золзикевич однажды бурной ночью перескочил одним махом, охваченный страстным желанием сохранить себя на радость отечеству. Ныне, когда времена эти давно миновали, сколько бы раз ни приходилось папу Золзикевичу бывать в Вжецёндзе, поглядывал он на этот плетень и, сам себе почти не веря, думал; «Черт побери! Сейчас я бы так не сумел!»

Однако после этого сверхчеловеческого поступка, о котором говорилось даже в выходившей в то время газете, фортуна, охранявшая пана Золзикевича как зеницу ока, вдруг упорхнула от него, точно испугавшись его отваги. Не прошло и недели после описанного случая, как в одно прекрасное утро богатырская грудь пана Золзикевича встретилась – правда, благодаря провидению, которое всегда знает, что делает, – не с пулей, не со штыком, а с некоторым инструментом, сплетенным из бычьей кожи и снабженным на кончике кусочком олова. Вышеописанный инструмент порядком попортил на лопатках и поясице нежную кожу нашего симпатичного героя.

С этого времени в его мыслях и чувствах наступил решительный поворот. Лежа, уткнувшись носом в обыкновенный сенник в деревенской корчме, он бессонными ночами думал-думал, как когда-то Игнатий Лойола, и дошел в конце концов до уверенности в том, что каждый должен слушать обществу тем оружием, которым он лучше всего владеет. Интеллигенция, например, должна служить головой, а не спиной, потому что голова есть привилегия интеллигенции и имеется далеко не у каждого, а спина есть у всех, – и, значит, напрасно он, Золзикевич, свою спину подвергал всяким случайностям. Что он мог сделать еще для родины, продолжая идти прежним путем? Еще раз перескочить через какой-нибудь плетень? Нет! Достаточно было одного раза. «Пусть кто-нибудь другой перескочит!» – думал он. Пролить

снова кровь. Мало он ее проливал, что ли? Нет! Еще раз? Нет! Он мог служить обществу теперь на совсем ином пути – на мирном пути своей интеллигентностью, alias[1] ученостью. И так как знал он многое, знал кое-что почти о каждом жителе Ословицкого уезда, он мог и в мирное время отлично служить обществу.

Вступив на этот новый путь, он дошел до звания волостного писаря и, как нам известно, даже мечтал о должности помощника ревизора.

Однако и в должности писаря дела его шли недурно. Основательные познания всегда внушают уважение, а так как мой симпатичный герой, как я уже говорил, знал к тому же кое-что о каждом жителе Ословицкого уезда, то все они относились к нему с уважением, смешанным со страхом, остерегаясь чем-нибудь задеть эту незаурядную личность. При встрече с ним кланялись ему шляхтичи, кланялись и мужики, еще издали снимая шапки и говоря: «Слава Иисусу»... Но я вижу, что необходимо подробнее объяснить читателю, почему пан Золзикевич не отвечал на это приветствие обычным «Во веки веков».

Я говорил уже, что, по его мнению, образованному человеку это не подобает; были, однако, и другие причины. Самобытные умы всегда смелы и радикальны. Так вот, пан Золзикевич еще в те бурные времена пришел к убеждению, что «душа – это дым, и больше ничего». Именно в это время пан писарь читал роман издания варшавского книгоиздателя г. Бреслауэра под заглавием: «Изабелла, королева испанская, или Тайны мадридского двора». Этот замечательный во всех отношениях роман так ему понравился и настолько его захватил, что одно время он готов был бросить все и уехать в Испанию. «Повезло Марфорию, – думал он, вспоминая сцену, в которой Марфорий целует чулки на ногах Изабеллы, – может повезти и мне». Вероятнее всего, он бы тогда и уехал в поисках таких чулок, ибо был убежден, что «в этой дурацкой стране пропадает зря», но, к счастью, его удержали другие, отечественные чулки, о которых речь впереди.

Во всяком случае, «Изабелла Испанская», к вящей славе пашей литературы периодически издававшаяся г. Бреслауэром, сделала свое. Прочитав ее, Золзикевич стал скептически относиться не только к духовенству, но и ко всему, что прямо или косвенно связано с ним. Именно потому он не ответил косарям обычным «Во веки веков», а пошел дальше... Идет он, идет, а тут навстречу ему девки с серпами на плечах возвращаются с поля. Посреди дороги большая лужа, и они шли гуськом, подоткнув юбки и открыв свои красные, как свекла, ноги.

– Здравствуйте, синички! – крикнул им Золзикевич и, загородив тропинку, стал хватать всех по очереди и, поцеловав, толкал в лужу, разумеется, шутки ради. Девки вскрикивали и хохотали, показывая все зубы до единого. А когда они прошли, писарь не без удовольствия услышал, как одна говорила другой:

– До чего прекрасный кавалер наш писарь!

– А румяный, как яблочко.

– А уж голова душистая, как роза, – отозвалась третья. – Как схватит тебя да как прижмет, так и обомлеешь!

Пан писарь продолжал шагать в самом приятном расположении духа. Но, проходя мимо одной избы, он опять услышал разговор о себе и остановился у забора. По другую сторону забора раскинулся густой вишневый сад, в саду был пчельник, а возле ульев стояли две бабы и разговаривали. Одна насыпала в подол картофель и чистила

ого складным ножиком, а другая говорила:

– Ох, Стахова, милая, боюсь я до смерти, как бы моего Франека не взяли в солдаты.

А Стахова в ответ:

– К писарю ступай, к писарю. Уж если он не поможет, так никто тебе не поможет.

– Да с чем же я к нему пойду? С пустыми руками к нему идти нельзя. Войт – тот все-таки лучше: раков ли ему принесешь или масла, а то льну охапку или хоть курицу, – он все возьмет, не разбирая, а писарь – тот и не посмотрит. Ух, страшный гордец! Ему сразу платок развязывай – и рубль!

«Как же, стану я брать ваши яйца и кур, – проворчал про себя писарь. – Что я, взяточник, что ли, какой? Ну и убирайся со своей курицей к войту!»

Подумав, писарь раздвинул ветви и хотел было окликнуть женщин, как вдруг сзади затарахтела бричка. Писарь оглянулся. В бричке сидел студент в фуражке набекрень и с папиросой в зубах. Вез его тот самый Франек, о котором только что говорили бабы. Увидев Золзиковича, студент высунулся из брички, замахал рукой и крикнул:

– Как поживаете, пан Золзикович? Что слышно? А вы все так же усердно помадите свою голову?

-- Покорнейший ваш слуга! – ответил ему, низко кланяясь, Золзикович, но, когда бричка проехала, пробормотал ей вслед: – Чтоб тебе шею свернуть!

Этого студента писарь терпеть не мог. Он был родня Скоробаевским, у которых обычно гостил все лето. Золзикович не только терпеть его не мог, но и боялся как огня. Студент был насмешник и щеголь; он постоянно потешался над Золзиковичем и один во всей округе не ставил его ни во что. Однажды он попал на деревенский сход и в присутствии всех заявил Золзиковичу, что тот глуп, а мужикам сказал, чтоб не слушались его. Золзикович с радостью отомстил бы ему за все, но что он мог ему сделать? О других он хоть что-нибудь знал, а о нем решительно ничего.

Приезд этого студента был ему сейчас совсем некстати. Писарь нахмурился и, уже не останавливаясь, зашагал дальше, пока не дошел до избы, стоявшей поодаль от дороги. Когда он увидел эту избу, лицо его прояснилось. Изба эта была, пожалуй, еще беднее других, но казалась очень опрятной. Двор был чисто выметен и посыпан сабельником, у забора лежали наколотые дрова, и в одном из поленьев торчал топор. Дальше виднелся настесь открытый овин, а за ним хлев, который одновременно служил и коровником; еще дальше, за плетнем, лошадь, переступая с ноги на ногу, пощипывала траву. Перед хлевом блестела большая лужа, и в ней валялись две свиньи, а вокруг расхаживали утки, кивая головами и выискивая жуков в навозе. В стружках возле поленницы рылся петух, разгребая землю, и, найдя зерно или червяка, выкрикивал: «Ко-ко-ко!» Куры, услышав призывной клич, летели наперегонки, вырывая друг у друга лакомый кусочек.

На крыльчке у дверей женщина мяла коноплю, напевая: «Ой-та да-да! Ой-та да-да! Да-да-на!» Возле нее, вытянув передние лапы, лежала собака и поминутно щелкала зубами, пытаясь поймать мух, которые садились ей на разорванное ухо.

Женщина была молодая, лет двадцати, и на редкость красивая. Одета она была в

белую рубаху, перетянутую красной тесьмой. На голове у нее был простой бабий чепец. От всей ее фигуры веяло силой и здоровьем. Под рубахой вырисовывались упругие округлые груди, точно два кочна капусты, и вся она была словно крепкий гриб, широкая в плечах и бедрах, с тонкой талией, гибкая – одним словом, лань.

Однако у нее были мелкие черты лица, небольшая голова, и она могла бы показаться бледной, если бы не золотистый загар. Большие черные глаза глядели из-под прямых, словно нарисованных бровей, а губы под маленьким точеным носиком алели, как вишни. Пышные темные волосы выбивались из-под чепца.

Когда писарь подошел ближе, собака, лежавшая возле мялки, поднялась, поджала хвост и, зарывчав, оскалила клыки, как будто улыбаясь.

– Цыц, Кручек! – окликнула ее женщина мелодичным, звонким голосом.

– Добрый вечер, хозяйюшка! – начал писарь.

– Добрый вечер, пан писарь, – ответила молодая женщина, не прекращая работы.

– Ваш дома?

– Работает в лесу.

– Жаль, я по делу к нему, из волости.

Подобные дела для простых людей никогда не предвещают ничего хорошего, поэтому женщина оставила свою коноплю и, тревожно взглянув на него, спросила с беспокойством:

– Какое же это дело?

Между тем писарь уже поднялся на крылечко.

– А позволишь себя поцеловать? Тогда скажу.

– Обойдется и так! – возразила женщина.

Но писарь уже обнял ее и прижал к себе.

– Я людей позову! – вырываясь, крикнула женщина.

– Придешь сегодня ко мне вечером, а? – шептал писарь, не выпуская ее из объятий.

– Не приду, ни сегодня, никогда...

– Красавица ты моя, Марыся!

– Побойтесь вы бога, пан писарь!

Говоря это, она изо всех сил старалась вырваться, но писарь был не из слабых и не выпускал ее. Началась борьба, и в этой борьбе женщина, споткнувшись, упала на стружки, увлекая за собой писаря.

– Спасите! – громко закричала Репиха.

В эту минуту Кручек подоспел к ней на помощь. Шерсть стала дыбом у него на загривке. Он оцетинился и с бешеным лаем бросился на писаря, а так как пан писарь лежал ничком и был в коротеньком пиджачке, пес вцепился зубами в сукно, не покрытое пиджаком, затем в нанку, прокусив которую вгрызся в тело и только, когда почувствовал, что пасть у него полна, начал яростно мотать головой и терзать свою жертву.

– Иисусе, Мария! – закричал Золзикевич, забыв о том, что принадлежал к esprits fort[2].

Женщина тем временем вскочила на ноги, вскочил также и пан писарь, хотя Кручек не выпускал его. Тогда писарь схватил полено и вслепую стал размахивать им, пока не ударил собаку по спине; Кручек отскочил, жалобно скуля. Через минуту, однако, опять бросился на писаря.

– Уберите эту собаку, уберите этого черта! – кричал Золзикевич, отчаянно размахивая поленом.

Женщина кликнула собаку и прогнала ее за ворота. Некоторое время они молча глядели друг на друга; наконец, испуганная кровавым оборотом дела, Марыся воскликнула:

– Ох, горе мое! Чем же я приглянулась вам?

– Я вам покажу! – кричал писарь. – Я вам покажу! Вы у меня дождетесь! Пойдет ваш Репа в солдаты... Я хотел ему помочь... А теперь... Вы еще придете ко мне!.. Я вам покажу!..

Женщина побледнела, словно ее ударили обухом по голове, развела руками и открыла рот, как бы желая что-то сказать.

Но писарь уже поднял с земли свою зеленую клетчатую фуражку и быстро удалился, размахивая поленом, которое держал в одной руке, между тем как другой он придерживал клочья сукна и нанки.

ГЛАВА II

Другие люди и неприятные встречи

Спустя час Репа приехал из лесу с плотником Лукашем на помещичьей телеге. Репа был здоровый детина, высокий, как тополь, и топор был ему как раз под стать. Помещик недавно продал евреям остаток леса, который не успел заложить; Репа нанялся на рубку и хорошо зарабатывал – работник он был хоть куда. Как, бывало, поплюет на ладони, да схватит топор, да крякнет, да как взмахнет – сосна так и задрожит, а щепки летят на полсажени. Никто не мог с ним сравняться и в укладке леса на возы. Евреи, ходившие по лесу с меркой в руке и поглядывавшие на верхушки сосен, словно в поисках вороньих гнезд, все восхищались его силой. Богатый ословицкий купец Дрысля не раз говорил ему:

– Ай да Репа! Черт бы тебя побрал! На вот тебе шесть грошей на водку... нет, погоди, на пять...

А Репа – хоть бы что; знай машет топором, так что гул идет, а то для потехи закричит вовсю:

– Го-го-го!

Голос его разносился по лесу и отдавался эхом.

А затем ничего не было слышно, кроме стука его топора, только сосны порой загомонят, зашумят ветвями, как всегда в лесу.

Иной раз дровосеки принимались петь, и здесь Репа всегда был впереди. Надо было слышать, как гремел его голос, когда он с дровосеками распевал песню, которой сам их научил:

Ой, в лесу загудело,
Бу-у-у-у!
Что-то там загремело,
Бу-у-у-у!
То комар с дуба ухнул,
Бу-у-у-у!
Повредил себе брюхо,
Бу-у-у-у!
Ему мушка-вострушка,
Бу-у-у-у!
Зажужжала на ушко,
Бу-у-у-у!
Ты б, комарик, не падал,
Бу-у-у-у!
Тебе доктора надо ль?
Бу-у-у-у!
Докторов мне не надо,
Бу-у-у-у!
Ни лекарства, ни ваты,
Бу-у-у-у!
Мне б соху да лопату,
БУ-У-У-У!

Да и в корчме Репа тоже всегда был первым, только вот сивуху он чересчур любил, и как выпьет, так сейчас в драку.

Однажды он Дамасию, господскому батраку, проломил голову так, что экономка Юзефова клялась, будто в эту дыру у него всю душу видно. В другой раз, а было это, когда ему сравнялось семнадцать лет, подрался он в корчме с отпускными солдатами. Пан Скорабевский, который был в то время войтом, потащил его в канцелярию, ударил разок-другой просто так, для виду, но скоро смягчился и спрашивает:

– Скажи ты мне, ради бога, как же ты с ними справился? Ведь их было семь человек.

– Ну и что же? – отвечает Репа. – Они в походах ноги-то наломали, такого чуть ткнешь пальцем, он и валится.

Скорабевский так и замял это дело. В то время Репа пользовался особым его расположением. Бабы даже шептали друг другу на ушко, что Репа приходится ему

СЫНОМ.

– Оно и видно,– прибавляли они,– у него и амбиция дворянская.

Но это было не так, хотя мать Репа знали все, а отца никто. Сам Репа сначала жил в наемной избе и арендовал три морга, а потом так и остался на них, когда стали раздавать землю. Хозяин он был хороший, так что дела его пошли недурно. Жена у него была такая, какой и с огнем не сыщешь. Одним словом, все шло бы прекрасно, если бы не то, что он любил выпить.

Но этому горю не поможешь. Всякому, кто пробовал его усовещать, он одно отвечал:

– Не твое дело, на свои пью, а не па чужие.

В деревне он никого не боялся и подчинялся одному только писарю. Бывало, как завидит па дороге: шагают на длинных ногах вздернутый нос и козлиная борода под зеленой шапкой, так еще издали кланяется. Про него писарь тоже кое-что знал. Велели Репе во время беспорядков возить какие-то бумаги, он и возил. Ему-то что? Да и всего-то было ему в ту пору пятнадцать лет, и он еще пас свиней и гусей. А уж потом он сообразил, что за эти бумаги, пожалуй, и ему придется отвечать, и стал побаиваться писаря.

Таков-то был Репа,

Когда он, приехав из лесу, вошел в избу, жена с плачем бросилась к нему и давай причитать:

– Недолго уж на тебя, моего милого, глаза мои будут глядеть, недолго уж мне для тебя стряпать да стирать. Пойдешь ты, горемыка, на край света.

Репа удивился:

– Белены ты объелась, что ли, или тебя что укусило?

– И белены я не объелась, и не укусило меня, а только был здесь писарь и говорил, что никак тебе не миновать солдатчины... Ох! Пойдешь ты, пойдешь на край света.

Тут он стал ее расспрашивать, и она рассказала ему все, только об ухаживаниях писаря промолчала, боясь, как бы он не наговорил чего-нибудь лишнего или, упаси бог, не избил бы его и хуже бы не повредил себе.

– Вот дура! – сказал наконец Репа. – Ну, чего плачешь? В солдаты меня не возьмут, потому что я вышел из лет; опять же земля есть у меня, изба есть, да еще ты, дура, да этот чертенок! – Говоря это, он указал на колыбель, в которой «чертенок», то есть здоровый годовалый мальчишка, отчаянно болтал ногами и орал благим матом. Жена утерла фартуком глаза и сказала:

– Это все пустое. Что же он, не знает про бумаги, как ты их возил из лесу да в лес?

Репа почесал затылок.

– Знать-то знает.

И, помолчав, прибавил:

– Пойду с ним потолкую. Авось уж не так страшно.

– Ступай, ступай,– сказала жена,– только возьми с собой рубль. К нему без рубля не подступишься.

Репа достал из сундука рубль и отправился к писарю.

Писарь был холост и не обзавелся собственной избой, а жил в каменном доме на четыре семьи, у самого пруда. Там он занимал две комнаты с отдельным ходом.

В первой не было ничего, кроме соломы и пары башмаков, зато вторая служила ему одновременно гостиной и спальней. Подле никогда не убиравшейся кровати с подушками без наволочек, из которых сыпался пух, стоял стол, на нем стояла чернильница, лежали перья, канцелярские книги, два грязных воротничка и несколько книжек «Изабеллы Испанской» издания Бреслауэра; тут же стояли банка помады, гильзы из наконец, сальная свеча в жестяном подсвечнике с порыжевшим фитилем и мухами, утонувшими в сале около фитиля.

Возле окна висело довольно большое зеркало, а у противоположной стены помещался комод, в котором хранился изысканный гардероб писаря: всевозможных оттенков панталоны, самой фантастической окраски жилеты, галстуки, перчатки, лакированные ботинки и даже цилиндр, который писарь надевал, когда ему приходилось бывать в уездном городе Ословицах.

Кроме того, в описываемую минуту на стуле возле кровати лежали пострадавшие сукно и нанка; сам же писарь, улегшись в постель, читал «Изабеллу Испанскую» издания Бреслауэра.

Состояние его (то есть пана писаря, а не Бреслауэра) было до того плачевно, что, только обладая слогом Виктора Гюго, можно было бы его описать.

Прежде всего, рана его болела нестерпимо. Даже чтение «Изабеллы», которое всегда было для него наслаждением и развлечением, теперь лишь усиливало боль и горечь, жестоко терзавшие его после случая с Кручком.

У него был небольшой жар, мешавший ему собраться с мыслями. Минутами он бредил. Он как раз читал, как молодой Сер-рано, израненный, возвращается в Эскуриал после блистательной победы над карлистами. Королева Изабелла принимает его, взволнованная и бледная. Муслин бурно вздымается на ее груди.

– Генерал, вы ранены? – спрашивает она его дрожащим голосом.

Несчастному Золзикевичу кажется, что он-то и есть Серрано.

– Ох, ох, ранен,– говорит он слабым голосом,– простите, королева. Не могу вам только сказать, куда я ранен. Этикет этого не позволяет. Ой! Ой! Ваше величество...

– Отдохните, генерал! Садитесь же, садитесь и расскажите мне о своих геройских подвигах.

– Рассказать-то я могу, а уж сесть – никак! – восклицает в отчаянии Серрано-Золзикевич. – Ох! Простите, королева! Этот проклятый Кручек... я хотел сказать – Дон Хозе... Ай! Ай!

Сильная боль приводит его в чувство. Серрано озирается по сторонам и видит: на столе потрескивает свеча, так как начала гореть пропитанная салом муха, а другие мухи ползают по стенам... Так это не Эскуриал? И королевы Изабеллы тоже нет? Очнувшись окончательно, Золзикевич приподнимается, мочит платок в кувшине, предусмотрительно поставленном под кровать, и меняет компресс.

Затем поворачивается лицом к стене и засыпает или, точнее говоря, не то во сне, не то наяву снова скачет на почтовых в Эскуриал.

– Милый Серрано! Возлюбленный мой! – шепчет королева. – Дай я сама осмотрю твои раны...

У Серрано волосы встают дыбом. Он сознает всю безвыходность положения. Как послушаться королеву, а как решиться на столь интересный осмотр? Холодный пот выступает на его лбу, как вдруг...

Вдруг королева исчезает, дверь с шумом открывается, и в ней появляется его злейший враг Дон Хозе.

– Чего тебе нужно? Кто ты? – кричит Серрано.

– Это я, Репа, – мрачно отвечает Дон Хозе, Золзикевич просыпается вторично: Эскуриал снова превращается в его комнатенку, горит свеча, муха трещит на фитиле и брызжет голубыми искорками, а в дверях стоит Репа, и за ним... нет, перо падает у меня из рук... в полуоткрытую дверь просовывает морду... Кручек!

Чудовище уставилось глазами па Золзикевича и как будто улыбается.

Тут уж холодный пот действительно выступает на лбу Золзикевича, а в голове его проносится мысль, что Репа пришел намять ему бока, а Кручек, со своей стороны...

– Что вам обоим от меня нужно? – кричит он в ужасе.

Но Репа кладет на стол рубль и смиренно говорит:

– Милостивый пан писарь! Это я пришел к вам насчет..., рекрутчины.

– Вон! Вон! – сразу ободрившись, рывкает Золзикевич.

В бешенстве срывается он с постели и хочет броситься на Репу, но карлистская рана так начинает болеть, что он падает на подушки, издавая приглушенные стоны:

– Ой, ой!

ГЛАВА III

Размышления и «Эврика!»

Рана воспалялась.

Я вижу, как прекрасные читательницы уже проливают слезы над моим героем, и, пока они не лишились чувств, спешу прибавить, что он, однако, не умер от этой раны.

Ему суждено было еще долго жить. Впрочем, если бы он умер, мне пришлось бы сломать перо и на том кончить свой рассказ, но так как он жив, я продолжаю.

Итак, рана его воспалилась, но, сверх ожидания, это пошло па пользу нашему канцлеру из Бараньей Головы. Воспаление оттянуло кровь от головы, мысли его прояснились: он сразу понял, что до сих пор делал одни только глупости. Во-первых, наш канцлер решил во что бы то ни стало овладеть Репихой, и нечего удивляться этому; другой такой красавицы и не сыскать было во всем Ословицком уезде, но для этого ему нужно было избавиться от Репы. Если бы Репу взяли в солдаты, канцлер мог бы себе наконец сказать: «Гуляй, душа, наша взяла!» Но на так-то легко было подсунуть Репу вместо сына войта. Правда, писарь – это сила, и Золзикевич был такой силой среди писарей, однако, к несчастью, в рекрутском наборе он не является высшей инстанцией. Приходилось еще иметь дело с земской стражей, с воинской комиссией, с начальником уезда, начальником земской стражи – одним словом, с лицами, нисколько не заинтересованными в том, чтобы вместо Бурака подарить государству и армии Репу. «Внести его в списки? Ну, а дальше?» – ломал себе голову мой симпатичный герой. Ведь вместе со списками надо представить п метрики, да и Репе рот не заткнешь. Кончится тем, что ему же дадут по носу, да еще, пожалуй, прогонят с должности.

Самые великие люди под влиянием страсти делают глупости, но в том и заключается их величие, что они вовремя умеют их осознать. Золзикевич понял, что, обещав Бураку внести Репу в списки, он сделал первую глупость; совершив нападение на его жену – сделал вторую; а напугав их обоих рекрутчиной – третью. О, возвышенная минута, когда истинно великий муж говорит себе: «Я осел!», ты наступила и для Бараньей Головы, слетев, словно на крыльях, из краев, где выпренное вытекает из возвышенного, ибо Золзикевич явственно сказал себе: «Я осел!»

Но мог ли он бросить этот план теперь, когда, обagrив кровью своей собственной... (в пылу он сказал: собственной груди), мог ли он бросить этот план, когда ради него пожертвовал совсем новой парой суконных штанов (за которые еще не заплатил Срулю) и парой нанковых, которые надевал не более двух раз?

Нет, никогда! Напротив, теперь, когда к его видам на Репиху присоединилась еще жажда мести ей, ее мужу и Кручеку, Золзикевич поклялся, что будет последним болваном, если не упечет Репу.

Итак, он думал, как бы это сделать, в первый день, меняя компрессы; думал и на другой день, меняя компрессы; думал и на третий, меняя компрессы, – и знаете, что придумал? Да ничего не придумал!

На четвертый день ему привезли из ословицкой аптеки пластырь. Золзикевич приложил его, и – о чудо! – почти в то же мгновение он воскликнул: «Нашел!» И действительно, он кое-что нашел.

ГЛАВА IV,

которую можно было бы назвать «Зверь в сетях»

Дней пять или шесть спустя в корчме Бараньей Головы сидели войт Бурак, гласный Гомула и Репа.

– Будет вам спорить из-за пустяков, – поднимая стакан, сказал войт.

– А я говорю, что француз не дастся пруссаку, – крикнул Гомула, стукнув кулаком

по столу.

– А пруссак, черт его поберп, тоже хитер! – возразил Репа.

– Ну и что же, что хитер? Французу турок поможет, а турок всех сильнее.

– Много ты знаешь! Сильнее всех Гарубанда (Гарибальди).

– Ну, уж ты скажешь. Где это ты выкопал своего Гарубанду?

– Ничего я не выкапывал. А люди говорили, что плавал он по Висле и кораблей у него видимо-невидимо, а войска – страшная сила. Только вот с непривычки пиво ему в Варшаве не понравилось, дома-то у него получше, оттого он и воротился.

– И все-то ты брешешь. Уж известно, что всякий шваб – это еврей.

– Так Гарубанда-то не шваб.

– А кто ж он, по-твоему?

– Кто? Царь он – вот кто?

– Умен ты очень!

– Ну, и ты не умнее!

– А раз такой умный, скажи-ка мне, как звали нашего прародителя?

– Как? Известно, Адам.

– Да это крестное имя, ты скажи, как его прозвание.

– А я почему знаю.

– Вот видишь. А я знаю. Прозвание ему было «Искупила».

– Да ты белены объелся!

– Не веришь, так послушай:

О пресвятая дева!
Ты господа бога своей грудью вскормила
И грех нашего прародителя искупила.

– Ну что, не «Искупила»?

– Пусть будет по-твоему.

– Выпили бы лучше, – прервал их войт,

– За твое здоровье, кум,

– За твое здоровье!

– Лхаим!

– Селям!

– Дай бог счастливо!

Все трое выпили, но так как происходило это во время франко-прусской войны, то Гомула опять вернулся к политике.

– Французы,– сказал он,– просто вертопрахи. Я-то их не помню, а только мой отец говорил, что как стояли они у пас на постое, прямо как Судный день был в Бараньей Голове. Больно они охочи до баб. Возле нашей хаты жил Стась, отец Валента, а у них на постое тоже был француз, а может, и два, не помню. И вот, просыпается раз ночью Стась, да и говорит: «Каська! Каська! Мне почудилось, будто француз возле тебя лежит». А она говорит: «Да и мне самой тоже так сдается». А Стась говорит: «Так ты скажи ему, чтобы он убирался прочь!» А баба ему: «Как бы не так... Поговори с ним, когда он по-нашему не понимает!» Чего ему было делать?..

– Выпьем-ка еще по одной,– сказал Бурак,

– Дай бог счастливо!

– Спасибо на добром слове!

– Ну, за твое здоровье!

Выпили опять, а так как пили они ром, то Репа, осушав свой стакан, стукнул им по столу и сказал;

– Эх! Что добро, то добро!

– Еще, что ли? – спросил Бурак,

– Наливай!

Репа уже побагровел, а Бурак все продолжал ему подливать,

– Вот ты,– наконец сказал он Рене,– ведь одной рукой закинешь куль гороха на спину, а на войну идти побоишься,

– Я побоюсь? Нет, драться так драться.

– Иной и мал, да удал,– сказал Гомула,– а другой и велик и здоров, да трус.

– Врешь! – воскликнул Репа. – Я не трус!

– Кто тебя знает? – продолжал Гомула,

– А вот двинул бы я тебя этим кулаком по спине,– ответил Репа, показывая кулак с добрый каравай,– рассыпался бы ты, как старая бочка,

– Ну, это как сказать,

– Давай попробуем!

– Будет вам,– вмешался войт.– Никак, вы драться хотите? Лучше выпьем.

Выпили еще, но Бурак и Гомула только пригубили, а Рэпа хватил залпом целый стакан рому, так что у него глаза чуть на лоб не выскочили.

– Поцелуйтесь теперь,– сказал войт.

Репа бросился обнимать Гомулу и заплакал, а это означало, что он изрядно подвыпил, затем стал сетовать па свою горькую долю, вспоминая пегого теленка, который две недели назад окошел ночью в хлеву.

– Ох, ведь какого теленка господь бог отнял у меня! – жалобно причитал он.

– Не горюй,– сказал Бурак. – Ты послушай лучше, что я тебе скажу. В канцелярию пришла бумага, будто господский лес отойдет крестьянам.

– И правильно,– ответил Репа. – Лес-то не бария сажал.

Замолчав, он опять принялся причитать:

– Ох! Вот теленок был так теленок! Как подойдет, бывало, к корове да как даст ей башкою в брюхо, та и отлетит к самой балке.

– Писарь говорил...

– Что мне ваш писарь! – сердито прервал его Репа.– Плевать мне на вашего писаря!

– Не ругайся! Лучше выпьем!

Выпили опять. Репа как будто успокоился и смирно сел на скамью, как вдруг дверь отворилась, и на пороге показались зеленая фуражка, вздернутый нос и козлиная борода писаря.

Репа сорвал с головы шапку, съехавшую на затылок, бросил ее на пол и, встав, пробормотал:

– Слава Иисусу!

– Здесь войт? – спросил писарь.

– Здесь,– отвечали три голоса.

Писарь подошел к столу. В ту же минуту подлетел к нему Шмуль с рюмкой рому. Золзикевич понюхал, поморщился и уселся за стол.

С минуту царило молчание. Наконец Гомула заговорил:

– Пан писарь!

– Что тебе?

– А правда это, что говорят насчет леса?

– Правда. Только прошение надо вам подписать всем миром.

– Ну, уж я-то не стану подписывать,– заявил Репа, не любивший, как и все крестьяне, подписывать свою фамилию.

– Тебя никто и не просит. Не подпишешь, так ничего и не получишь. Это твоя воля.

Репа чесал затылок, а писарь, обращаясь к войту и гласному, стал разъяснять официальным тоном:

– Насчет леса – это правда, только каждый обязан огородить свой участок, чтобы не было споров.

– Пожалуй, забор будет дороже стоить, чем лес,– вмешался Репа.

Однако писарь не обращал на него внимания.

– Стоимость заборов,– продолжал он, обращаясь к войту и гласному,– оплачивает казна. Вы еще на этом заработаете, потому что на душу приходится по пятидесяти рублей.

У Репы заблестели глаза.

– Ну, раз так, то и я подпишу. А деньги-то где?

– У меня,– ответил писарь. – А вот и документ.

С этими словами писарь достал вчетверо сложенный лист бумаги и что-то прочитал,– что именно, мужики, правда не разобрали, но были весьма довольны... Если бы Репа не был так пьян, он бы, наверное, заметил, как войт подмигивал гласному.

Затем – о чудо! – писарь достал деньги и сказал:

– Ну, кто первый?

Войт и гласный подписали, но когда Репа взялся за перо, Золзикевич отодвинул документ и спросил:

– Да ты, может, не хочешь? Тебя ведь никто не принуждает.

– Как это не хочу?

Писарь кликнул Шмуля.

Тот мигом появился в дверях:

– Что пану писарю угодно?

– Будь п ты свидетелем, что все тут делается без принуждения.

А потом снова спрашивает Репу:

– Да ты, может, не хочешь?

Но Репа уже подписал, причем посадил здоровенную кляксу, потом взял у писаря деньги, целых пятьдесят рублей, спрятал их за пазуху и крикнул:

– А ну-ка, давай еще рому!

Шмуль принес, все выпили. Отдохнули и еще выпили. Потом Репа сложил руки на коленях и задремал.

Несколько минут он так сидел, покачиваясь из стороны в сторону, наконец свалился со скамьи и, пробормотав: «Господи, помилуй меня, грешного!», уснул.

Репиха за ним не пришла, так как под пьяную руку ей не раз от него попадало. На другой день он просил прощения и целовал у нее руки. В трезвом виде он дурного слова ей не говорил, а от пьяного ей частенько доставалось.

Так Репа и проспал в корчме всю ночь. Проснулся он с восходом солнца и глаза вылупил: видит, что лежит не в своей избе, а в корчме и не в задней каморке, где они сидели вчера, а в общей, где была стойка.

– Во имя отца, и сына, и святого духа!

Он еще раз осмотрелся кругом. Солнце уже взошло и сквозь порозовевшие стекла заглядывало за стойку. У окна стоял Шмуль в молитвенном облачении и, раскачиваясь из стороны в сторону, громко молился.

– Шмуль, собачий сын! – крикнул Репа.

Но Шмуль будто и не слышит и продолжает молиться.

Тогда Репа стал себя ощупывать, как делает всякий мужик, проспавший всю ночь в корчме. Нащупав деньги, закричал:

– Иисусе, Мария! А это что?

Между тем Шмуль, кончив молитву, спокойно, с серьезным лицом и не спеша, подошел к нему.

– Шмуль, что это за деньги?

– А ты, дурак, и не знаешь? Да ты же вчера сговорился с войтом идти за его сына в солдаты, и деньги взял, и контракт подписал.

Тут только мужик побелел как полотно, сорвал с головы шапку, повалился наземь и заревел, да так, что стекла задрожали.

– Ну, пошел вон, ты, солдат! – флегматично сказал Шмуль.

Спустя полчаса Репа подходил к своей избе. Марыся уже стряпала обед; услышав, как скрипнули ворота, она бросила все и, сердитая, выбежала ему навстречу.

– Ах ты, пьяница! – начала она. Но, взглянув на него, сама испугалась: на нем

лица не было. – Что с тобой?

Репя вошел в избу, но не мог вымолвить ни слова: сел на лавку и низко опустил голову. Однако жена до тех пор его расспрашивала, пока не выпытала всего.

– Продали меня! – простонал он наконец.

Тут уж и она заголосила, он за ней, а ребенок, испугавшись, тоже начал орать что было мочи; Кручек завыл так жалобно, что из соседних изб выскочили бабы с ложками в руках и стали спрашивать друг друга:

– Да что там случилось у Репы?

– Поколотил он ее, что ли?

Между тем Репиха голосила еще громче своего мужа, потому что любила его, бедняжка, больше всего на свете.

ГЛАВА V,

в которой мы знакомимся с законодательными органами Бараньей Головы и главными их представителями

На следующее утро было заседание волостного суда. Гласные съехались со всей волости, за исключением панов, то есть нескольких шляхтичей, которые тоже были гласными. Эти шляхтичи, не желая отстать от других, придерживались английской политики, а именно «принципа невмешательства», столь восхваляемого знаменитым государственным мужем Джоном Брайтом. Этот принцип не исключал, однако, влияния «интеллигенции» на судьбы волости. Если кто-нибудь из «интеллигенции» имел дело в волости, то накануне заседания приглашал к себе Золзикевича, затем в кабинете представителя интеллигенции появлялась водка, сигары, и дело улаживалось очень быстро. А затем следовал обед, к которому очень радушно приглашали пана Золзикевича со словами: «А ну, садитесь, пап Золзикевич, садитесь!»

Пан Золзикевич не отказывался, а на другой день небрежно говорил войту: «Вчера я обедал у Медзишевских, Скорাবেвских или Осцешинских. Гм! У них дочь невеста: я понимаю, что это значит!» За обедом Золзикевич старался соблюдать все правила хорошего тона: когда подавали какие-нибудь замысловатые кушанья, подмечал, как их едят другие, а главное, не показывал виду, что такое приглашение делает ему особенную честь.

Вообще он был человек в высшей степени тактичный, который везде умел себя держать; в необходимых случаях он не только не робел, но охотно вмешивался в разговор, поминутно вспоминая то «этого почтенного комиссара», то «этого милейшего начальника», с которым на днях играл по копейке в преферанс. Словом, он старался показать, что находится в дружеских отношениях со всеми властями Ословицкого уезда. Правда, иногда он замечал, что дамы, слушая его рассказы, как-то странно поглядывали в тарелки, но думал, что это в моде. Удивляло его и то, что тотчас же после обеда помещик, не дожидаясь, когда он станет прощаться, хлопал его по плечу, говоря: «Ну, прощайте, пан Золзикевич!» – однако полагал, что и это принято в высшем обществе, К тому же, когда хозяин пожимал ему на прощанье руку, в ней всегда что-то шуршало; тогда, оцарапав ладонь хозяину, он сгибал пальцы, перекладывал в свой карман «что-то» и неизменно прибавлял: «Пане! Между нами это уж совсем лишнее! Что же касается вашего дела, то будьте покойны».

В самом деле, пан мог быть спокойным, ибо пан Золзикович держал в руках Бурака и гласного Гомулу, а они втроем держали в своих руках весь суд, которому оставалось только скреплять то, что решала эта тройка, В этом нет ничего удивительного: в каждом коллективе гениальные личности всегда стоят у руля.

Благодаря столь твердому руководству и врожденным талантам Золзиковича дела волости, наверное, шли бы блестяще, но, к несчастью, пану Золзиковичу не всегда бывало угодно объяснить суду, как следует смотреть на известное дело с юридической точки зрения. В частности, дела, которым не предшествовало что-либо шуршащее, он представлял полностью на благоусмотрение судей. Во время разбора этих дел он упорно молчал, к величайшему беспокойству гласных, которые в таких случаях совсем теряли голову. Из шляхты один только Флосс, владелец Малого Прогресса, сначала посещал в качестве гласного заседания волостного суда, утверждая, что интеллигенция обязана принимать в них участие. Это возбудило всеобщее неудовольствие. Помещики считали его «красным», что подтверждала самая его фамилия; крестьяне же из демократического чувства отчужденности находили, что барину не подобает сидеть на одной скамье с мужиком, примером чего могут служить другие господа, которые этого не делают.

В общем, крестьяне могли его упрекнуть лишь в том, что он не был баринком по всей форме. Что же касается Золзиковича, то он не любил его за то, что Флосс не старался добиться его расположения ничем шуршащим; кроме того, однажды во время заседания Флосс попросил его замолчать, чем окончательно вооружил против себя не только писаря, но и всех остальных. Кончилось тем, что в одно прекрасное утро кто-то из гласных сказал ему в присутствии всего суда: «Да разве вы настоящий барин? Осцешинский – вот это барин, Скорабевский – барин, а вы? Какой же вы барин? Вы откупщик!» После этого Флосс, который тем временем купил еще имение Слабая Воля, плюнул на все и отказался от должности гласного. Между тем шляхтичи говорили: «Доигрался-таки!», причем в защиту «принципа невмешательства» приводили мудрую пословицу, которая гласит: «Сколько ни учи мужика...»

Таким образом, волость, не возмущаемая участием «интеллигенции», управляла своими делами, не прибегая к помощи вышеупомянутого элемента, а только посредством бараньеголовьего ума, которого должно было хватать для Бараньей Головы на том же основании, на каком ума парижан хватает для Парижа. Впрочем, уже установлено, что практический или так называемый «здравый мужицкий ум» стоит больше любого интеллекта иного сословия, а что жители этого края сразу являются на свет с этим «здравым умом», мне кажется, не требует доказательств.

Это подтвердилось и в Бараньей Голове, когда на заседании, о котором идет речь, был прочитан запрос высшей администрации: не пожелает ли волость починить за свой счет дорогу в Ословицы, пролегающую в ее владениях. Предложение это вообще чрезвычайно не понравилось собравшимся, а один из местных *patres conscripti*[3] заявил, что чинить дорогу незачем, если можно ездить через луга Скорабевского. Если бы Скорабевский присутствовал на заседании, то, вероятно, нашел бы какие-нибудь возражения против этого *pro publico bono*[4], но пана Скорабевского здесь не было, так как и он придерживался «принципа невмешательства». Таким образом, предложение, несомненно, прошло бы *unanimitate*[5], если бы не то обстоятельство, что накануне Золзикович был приглашен к Скорабевскому на обед, во время которого рассказывал пане Ядвиге сцену удушения двух испанских генералов в Мадриде, прочитанную в «Изабелле Испанской» издания Бреслауэра. А после обеда, прощаясь с хозяином, он почувствовал, как в руке у него что-то зашуршало. Вследствие этого писарь не стал записывать предложение гласных, а, перестав ковырять в носу, отложил перо в сторону в знак того, что желает

говорить.

– Пан писарь хочет что-то сказать, – раздались голоса гласных.

– Я хочу сказать, что вы дураки! – флегматично ответил писарь.

Сила истинно парламентского красноречия, хотя и проявившаяся в столь лаконичной форме, была так велика, что после этого выступления, направленного против предложения гласных и вообще всей административной политики Бараньей Головы, мудрые ее управители стали беспокойно озираться по сторонам, почесывая свои благородные органы мышления, что было несомненным признаком глубокого проникновения в суть дела. Наконец после продолжительного молчания один из представителей администрации спросил:

– А что?

– Да то, что вы дураки!

– Может быть, – отозвался один голос.

– Луга-то они луга, да что толку? – прибавил другой.

– А весной по ним и не проедешь! – заключил третий.

В результате проект заменить дорогу лугами Скорабевского был отвергнут, и, приняв предложение высшей администрации, гласные принялись за раскладку расходов по починке дороги согласно присланной смете. Затем предложен был еще один проект, состоявший в том, чтобы все расходы понесли только помещики, которые за это останутся единственными хозяевами лугов. Но когда благодаря пану Золзикевичу и этот проект был отвергнут, усилия каждого из законодателей свелись уже только к тому, чтобы, сняв с себя ответственность, утешиться сознанием, что для блага общества не жаль никаких жертв. Чувство справедливости настолько укоренилось в сознании всех представителей законодательных органов Бараньей Головы, что никому не удалось увильнуть от расходов, за исключением войта и гласного Гомулы, которые взяли на себя обязанности следить за тем, чтобы дело шло возможно скорей.

Нужно, однако, сознаться, что эта бескорыстная самоотверженность со стороны войта и гласного, как и всякий благородный поступок, выделяющийся своей незаурядностью, возбудила всеобщую зависть и даже вызвала протест одного из гласных, который гневно спросил:

– А вы-то почему не будете платить?

– Зачем же нам даром деньги бросать, раз хватит и тех, что вы дадите? – ответил Гомула.

Это был аргумент, против которого, я полагаю, не только здравый ум Бараньей Головы, но и всякий иной не нашел бы что возразить, а потому протестующий голос умолк, но через минуту проговорил с убеждением:

– Это верно!

Покончив с этим делом, суд, наверное, без проволочек приступил бы к разбору

других, если бы этому внезапно не помешало неожиданное вторжение в зал заседаний двух поросят. Они, как безумные, ворвались в полуоткрытую дверь и без всякой видимой причины принялись метаться по комнате, вертеться под ногами и визжать благим матом. Разумеется, заседание было прервано, и весь законодательный корпус бросился преследовать нарушителей порядка, повторяя с редким единодушием: «Кыш, кыш, чтоб вам неладно!» Поросята менаду тем забились под ноги Золзикевичу и испортили ему вторую суконную пару песочного цвета, испачкав ее чем-то зеленым, что так и не отстиралось, хотя Золзикевич не пожалел глицеринового мыла и даже тер ее собственной зубной щеткой.

Благодаря, однако, настойчивости и энергии, которая и в этом случае не оставила представителей бараньеголовьей волости, поросята, несмотря на самые резкие протесты, были схвачены за задние ноги и выброшены за дверь, после чего водворился обычный порядок и судьи могли без помех перейти к повестке дня. На повестке этой стояло дело крестьянина по фамилии Среда с вышеупомянутым помещиком Флоссом. Возникло оно из-за того, что волы Среды, объевшись за ночь клевера на поле Флосса, к утру покинули эту юдоль скорби и слез и унесли в лучший воловий мир. Убитый горем Среда представил это печальное дело на рассмотрение суда, прося защиты и справедливости.

Суд, быстро вникнув в дело, с присущей ему пронизательностью пришел к заключению, что хотя-Среда и нарочно пустил волов на поле Флосса, однако, если бы на этом поле росли, например, пшеница или овес, а не этот ядовитый клевер, волы остались бы здоровехоньки, и их, несомненно, не постигло бы столь прискорбное вздутие живота, жертвой которого они стали. Исходя из большой посылки и придя столь же логическим, сколь и строго юридическим путем к малой, суд нашел, что причиной смерти волов был не Среда, а Флосс и потому он должен уплатить Среде за волов, а кроме того, в виде предостережения па будущее – внести в волостную кассу на канцелярию пять рублей серебром. В случае же, если бы обвиняемый отказался уплатить означенную сумму, взыскать ее с арендатора Ички Цвейноса.

Затем разбиралось еще много дел частного характера, но поскольку все они не имели отношения к гениальному Золзикевичу, то решения по ним взвешивались вполне самостоятельно, здравым бараньеголовьим умом, на весах истинной справедливости. Благодаря же английскому «принципу невмешательства», которого придерживалась «интеллигенция», общее согласие и единомыслие лишь изредка нарушалось посторонними замечаниями: о параличе, гниении печени и моровой язве, высказываемыми в виде пожеланий как тяжущимися, так и самими судьями.

Нужно полагать, что благодаря этому же неоценимому принципу все дела решались таким образом, что как выигравшая сторона, так и проигравшая должны были вносить известную и довольно значительную сумму «на канцелярию».

Это косвенно обеспечивало столь желательную в волостных учреждениях независимость войта и писаря, а прямым путем могло отучить народ от сутяжничества и тем поднять нравственность волости Баранья Голова до уровня, о котором тщетно мечтали философы XVIII века. Достоинно внимания и то обстоятельство (впрочем, мы ни хвалить, ни порицать его не беремся), что Золзикевич записывал в книги только половину взимаемой на канцелярию суммы, в то время как другая половина предназначалась на «непредвиденные расходы», которые могли случиться у писаря, войта и гласного Гомулы.

Наконец, последовали уголовные дела, а потому судьи отдали приказание привести

преступников и представить их пред лицом правосудия. Нет надобности прибавлять, что в волости Баранья Голова была принята новейшая и отвечающая последним требованиям цивилизации система келейного, или одиночного заключения. Существование этой «новейшей» карательной системы не подлежит никакому сомнению, что бы ни говорили злые языки. Еще и до сих пор в хлеву войта бараньеголовой волости можно увидеть четыре загородки. Там сидели арестованные в полном одиночестве, ибо нельзя же принимать в расчет животных, о которых известная «Зоология для молодежи» говорит: «Свинья – это животное, справедливо так названное по причине ее неопрятности: природа лишила ее рогов, что может также служить доказательством ее целесообразности». Одним словом, арестованные сидели в таком обществе, которое не мешало им предаваться размышлениям о совершенных преступлениях и о средствах исправления.

Караульный незамедлительно отправился в уже известное нам здание одиночного заключения, и вскоре перед судом предстали не два, а точнее, двое преступников. Из этого читатель легко может заключить, какого деликатного свойства, какие сложные и глубоко психологические вопросы приходилось разрешать судьям бараньеголовой волости. Дело было действительно в высшей степени тонкое. Некий Ромео, иначе Вах Рехнё, и некая Джульетта, иначе Васька Жабянка, служили у одного хозяина в батраках. И что тут скрывать: влюбились они друг в друга до того, что не могли жить один без другого, как Невазендех без Везендеха. Вскоре, однако, ревность вкралась в сердце Джульетты: однажды она заметила, что Ромео слишком долго беседует с дворовой девкой Ягной. С тех пор несчастная ждала лишь случая. В один прекрасный день, когда, по мнению Джульетты, Ромео вернулся слишком рано с поля и настойчиво стал требовать ужин, она решила с ним объясниться, причем они обменялись несколькими дюжинами тумачков и даже был пущен в ход уполовник. Следы того объяснения сохранились в виде синяков на идеальном лице Джульетты, а также на рассеченном, преисполненном мужского достоинства челе Ромео. Суду оставалось решить, кто из них прав, – следовательно, кто должен уплатить семьдесят пять копеек в виде вознаграждения как за любовную измену, так и за последствия ссоры.

Гнилое веяние Запада еще не успело растлить здоровый дух судей, а потому суд сперва дал возможность высказаться Ромео, который, держась за разбитый лоб, так начал свою речь:

– Вельможные судьи! Эта тварь уже давно не дает мне покоя. Пришел это я с поля и прошу дать поесть, а она мне: «Ты что же, говорит, собачий сын, а? Хозяин еще в поле, а ты, говорит, уже пришел? Тебе бы, говорит, только на печь завалиться да мне подмаргивать!» А я ей никогда и не подмаргивал; только как увидела она меня с Ягной, когда я помог ей ведра вытащить из колодца, так с тех пор на меня и взъелась. Швырнула это она мне чашку на стол, так что чуть вся моя похлебка не расплескалась, и поесть-то толком не дала: как пристала ко мне да как начала ругаться... «Ах ты, говорит, язычник, ах, изменник, отступник ты, викарий». Как сказала она мне это слово, так я ее по роже, но так, без злобы, а она меня уполовником по башке...

Тут уж идеальная Джульетта не стерпела, она сжала кулак и, сунув его под нос Ромео, пронзительно взвизгнула:

– Врешь, врешь! Все брешь, собачий сын! – затем расплакалась и, обращаясь к судьям, закричала: – Вельможные судьи! Пожалейте вы меня, сироту несчастную! Не у колодца я его встретила с Ягной, чтоб им ослепнуть! Сама видела, как пошли они в рожь и там невесть сколько пробыли. Беспутный ты человек, говорю, что ж,

говоря, ты мне брехал, будто уж до того меня любишь, что так бы и треснул кулаком! О, чтоб ты окошел, чтоб у тебя язык колом встал! Тебя бы не уполовником, а шкворнем хватить! Ох, доля моя, доля! Солнце еще высоко, а он уж с поля возвращается, да еще жрать просит! Я ему этак вежливенько говорю: «Ты что, воровская рожа? Хозяин еще в поле, а ты уж домой пришел?» А викарием я его не обзывала, упаси бог! О, чтоб тебе...

В этом месте войт призвал обвиняемую к порядку, сделав ей замечание в следующей форме:

– Да заткнешь ли ты глотку, проклятая!

Наступила минутная тишина, во время которой суд обдумывал свой приговор. И ведь какая глубина проникновения в суть дела: к уплате семидесяти пяти копеек не была присуждена ни одна из сторон, но ради поддержания своего престижа, равно как и для острастки всем влюбленным в Бараньей Голове, суд приговорил обоих обвиняемых еще к двадцати четырем часам одиночного заключения, а также к уплате по рублю серебром на канцелярию.

«От Ваха Рехнё и Баськи Жабянки поступило на канцелярские расходы по пятьдесят копеек серебром»,— записал Золзикевич.

На этом заседании окончилось. Золзикевич встал и подтянул свои суконные песочного цвета брюки вверх, а фиолетовый жилет вниз. Гласные уже брались за шапки и кнуты, готовясь разойтись по домам, как вдруг дверь, плотно закрытая после вторжения поросят, распахнулась и на пороге показался мрачный, как ночь, Репа, а за ним его жена и Кручек.

Репиха была бледна как полотно; ее прелестные, тонкие черты выражали скорбь и смирение, а из больших черных глаз катились крупные слезы. Репа вошел смело, с высоко поднятой головой, но как только увидел суд в полном его составе, увидел «бляху» на вайте, распятие, козлиную бородку и вздернутый нос на длинных ногах, он сразу потерял всю свою воинственность и довольно тихо произнес:

– Слава Иисусу.

– Во веки веков! — ответили хором гласные.

– Вам что здесь нужно? — грозно спросил войт, который сначала было растерялся, но скоро пришел в себя. — Какое у вас там дело? Подрались вы, что ли?

– Дайте им говорить,— неожиданно вмешался писарь.

– Уважаемые судьи! — начал Репа. — А чтоб вам...

– Погоди, погоди,— прервала его жена,— дай я скажу, а ты сиди смирно.

Она вытерла фартуком глаза и нос и дрожащим голосом начала рассказывать.

Но что же это? Куда же она пришла? Она пришла жаловаться на войта и писаря — к кому же? К тому же войту и писарю!

– Увели его,— говорила Репиха,— напоили, лес ему обещали, только бы расписался, он и расписался. Дали ему пятьдесят рублей, а он пьяный был и совсем

не соображал, что себя продал и меня с мальчишкой. Пьяный он был, вельможные судьи, пьяный, как скотина! — продолжала она, заплавав. — Да ведь пьяный-то не в своем уме,— он сам не знает, что делает! Да ведь пьяному и в суде снисхождение оказывают, если кто подерется: дескать, пьяный не знал, что творил. Да что же это, господи! Да ведь трезвый-то не продался бы за пятьдесят рублей. Не дайте вы нас в обиду, люди добрые, пожалейте хоть дитя невинное! И куда я, несчастная, денусь, одна-одинешенька, без пего, без бедняги! Господь бог воздаст вам за нас, горемычных!

Рыдания прервали ее речь; Репа тоже плакал и поминутно сморкался в пальцы. Гласные приуныли и поглядывали то друг на друга, то на писаря и войта, не зная, как им в этом случае поступить.

Но вот Репиха собралась с силами и снова заговорила:

— Ходит он теперь, как порченный. Тебя, говорит, убью, дитя, говорит, невинное погублю, избу сожгу, а не пойду, хоть убей, не пойду. А чем я-то согрешила? Иль мальчонка? А уж он теперь — ни по хозяйству, ни косить, ни лес рубить — ничего. Все только сидит да вздыхает, а я так только на вас надеюсь, на ваш суд. Ведь и вы тоже люди, и ведь и вы в бога веруете. Не дайте вы нас в обиду! Господи Иисусе! Матерь божья Ченстоховская, заступись за нас!

С минуту были слышны лишь рыдания Репихи; наконец один из гласных, старик, пробормотал:

— Оно и впрямь нехорошо, подпоить человека да и продать его в солдаты!

— Нехорошо, что и говорить,— подтвердили и остальные.

— Да благословит вас господь и пресвятая богородица! — воскликнула Репиха, бросившись на колени.

Войт совсем растерялся, не менее сконфужен был и Гомула. Оба поглядывали на писаря, который все время молчал, но, когда Репиха окончила свою речь, он обратился к гласным:

— Дурачье вы, дурачье!

Наступила мертвая тишина. Писарь продолжал:

— В законе сказано: если кто будет вмешиваться в добровольное соглашение, того будут судить морским судом. А вы, дураки, знаете, что это значит — морской суд? Куда вам, дуракам, знать. Морской суд — это... — Тут писарь вынул из кармана платок, высморкался и продолжал холодным, официальным топом: — Кто из вас, болванов, не знает, что такое морской суд, пусть попробует сунуть свой нос в это дело — сразу узнает, когда с него десять шкур сдерут. Ежели находится доброволец, соглашающийся за другого идти в солдаты, вам в это дело вмешиваться воспрещено. Условие подписано, свидетели есть — значит, шабаш! Об этом сказано и в юриспруденции. Кто не верит, смотри свод законов и ссылки на них. А что при этом выпили, так это обыкновенное дело. Вы все, дураки, пьете когда и где попало!

Если бы сама богиня правосудия с весами в одной руке и обнаженным мечом в другой внезапно вышла из-за печки и стала между гласными, она испугала бы их не больше,

чем этот морской суд, свод законов и ссылки. В зале суда воцарилось гробовое молчание, и лишь через несколько минут чуть слышно заговорил Гомула, на которого при этом посмотрели все, как бы удивляясь его смелости.

– И правда, так: лошадь продашь – выпьешь! Вола продашь – выпьешь, свинью – тоже выпьешь. Такой уж обычай.

– Так ведь и мы тогда выпили тоже по обычаю, – ободрился войт.

Тогда гласные уже смелее обратились к Репе;

– Сам заварил кашу, сам и расхлебывай!

– Тебе не шесть годков, сам должен знать, что делаешь, – прибавил другой.

– Башку-то тебе не оторвут, – сказал третий.

– А возьмут тебя в солдаты, можешь на свое место батрака нанять. Он за тебя управится и с хозяйством, и с бабой.

Понемногу веселье охватило весь суд.

Но писарь снова открыл рот, и все смолкло.

– Вы и того не знаете, куда вам можно вмешиваться, а куда не лезть. Если, к примеру, Репа грозит убить жену и ребенка да еще избу сжечь, то тут вы обязаны вмешаться и не оставлять этого безнаказанно. Раз она пришла жаловаться на мужа, то не должна уходить без удовлетворения.

– Неправда! Неправда! – в отчаянии закричала Репиха. – Я не жаловаться па него пришла, в жизни я от него никакой обиды не видала. О господи Иисусе! Никак светопреставление настало!

Но суд уже возобновил заседание, и непосредственным результатом его было то, что Репа ничего не добился, напротив: суд, охваченный понятной тревогой за жизнь Репихи, для ее

безопасности приговорил Репу к двухдневному заключению в хлеву, а дабы и впредь ему не приходили в голову подобные угрозы, решено было взыскать с него на канцелярию два рубля пятьдесят копеек.

При этих словах Репа вскочил как ужаленный и заявил, что в хлев ни за что не пойдет, что же касается денежного взыскания, то не два, а все пятьдесят рублей, взятых у войта, он швырнул наземь, вскричав:

– Бери кто хочет!

Поднялась страшная суматоха.

Вбежал сторож – и ну Репу тащить; Репа на него с кулаками, тот Репу за волосы. Репиха – в крик; наконец один из гласных схватил ее за шиворот и вытолкнул за дверь, дав ей на дорогу пинка, тем временем остальные помогли сторожу водворить Репу в хлев.

Между тем писарь записал: «От Вавжона Репы на канцелярию один рубль двадцать пять копеек».

Чуть не обезумевшая Репиха вернулась одна в свою опустевшую избу. Она шла, ничего не видя, спотыкаясь на каждом шагу, и, ломая руки, голосила:

– О-о! О-о! О-о!

Войт, отличавшийся добрым сердцем, направляясь с Гомулой к корчме, сказал:

– Что-то жалко мне эту бабу, прибавить им четверик гороху, что ли?

Тут старший гласный, тот самый, который всегда заступался за Репиху, сказал:

– А я вам говорю, ежели б люди ученые па паши суды приходили, таких бы дел не бывало.

Сказав это, он уселся на воз, взмахнул кнутом и отъехал – потому что был не из Бараньей Головы.

ГЛАВА VI

Имогена

Надеюсь, что читатель уже вполне понял и оценил по достоинству гениальный план моего симпатичного героя. Золзикевич дал, что называется, шах и мат Репе и его жене. Внести его в рекрутские списки было нетрудно, но это ни к чему бы не привело. А вот подпоить его и устроить так, чтобы он сам подписал условие и взял деньги, – это было дело мудреное, требующее большой ловкости, свидетельствовавшей о том, что в других условиях Золзикевич мог бы играть более значительную роль. Войт, который уже готов был заплатить за сына восемьсот рублей, то есть «выкупить» его чуть не за все свои медяки, принял этот план с величайшей радостью, тем более что Золзикевич, столь же умеренный в своих желаниях, сколь гениальный, взял с него за это всего двадцать пять рублей. Да и то не из жадности, как не из жадности пользовался канцелярскими доходами. Нужно ли говорить, что Золзикевич был вечно в долгу у Сруля, ословицкого портного, который снабжал всю округу костюмами «прямо из Парижа».

Раз вступив на путь признаний, я не могу скрыть и того, почему Золзикевич так заботился о своем костюме. Отчасти происходило это вследствие врожденного эстетического чувства, но была и другая причина: Золзикевич влюбился. Не думайте, однако, что предметом его любви была жена Репы. Она, по собственному его выражению, возбуждала в нем только «аппетит». Нет, он был способен и на более утонченные и возвышенные чувства.

Читательницы, если не читатели, вероятно, уже догадываются, что предметом этих высоких чувств могла быть только панна Ядвига Скорабевская. Нередко, когда на небе восходила серебряная луна, Золзикевич брал гармонию, которой владел в совершенстве, садился на лавочку перед домом и, поглядывая в сторону усадьбы, пол под меланхолически посапывающий аккомпанемент:

О, сколь ужасны мои страданья,
С утра до ночи я слёзы лью,
Напрасны муки и воздыханья,
Напрасно юность свою гублю.

В поэтической тишине летней ночи голос его летел в сторону усадьбы, и, помолчав, Золзикевич прибавлял:

О, сколь жестоки ко мне вы были!
Навеки жизнь мне вы отравили!

Но если кто-нибудь вздумает упрекать Золзикевича в сентиментальности, я напрямик скажу, что он жестоко ошибается. Слишком трезвым умом обладал этот великий человек, чтобы быть сентиментальным, да и в мечтах его панна Ядвига обычно превращалась в Изабеллу, а сам он в Сerrано или Марфория, а там все складывалось прямо как в Испании, то есть он целовал «ее» ножки и т. д. Но как известно, действительность не соответствует мечтам, и даже этот железный человек однажды выдал свои чувства. Случилось это при следующих обстоятельствах. Как-то вечером, проходя мимо усадьбы, писарь заметил на веревке возле дровяного сарая юбки с инициалами «Я. С.» и с короной над ними. Золзикевич догадался, что они принадлежат панне Ядвиге. Посудите сами, мог ли он сдерживать свои чувства? И он не выдержал – подошел к одной из юбок и стал ее страстно целовать. Увидев это, дворовая девка Малгоська побежала жаловаться, что «пан писарь сморкается в барышнины юбки». К счастью, однако, ей не поверили, тем более что на юбке не оказалось никаких «вещественных доказательств», – и чувств его так никто и не узнал.

Надеялся ли он на что-нибудь? Да, он надеялся, но не осуждайте его за это. Всякий раз, когда он шел к Скорабевским, какой-то голос нашептывал ему: «А что, если сегодня панна Ядвига своей ножкой пожмет твою ногу под столом?»

– Гм! Не жаль было бы и лакированных ботинок, – говорил он с великодушием, свойственным всем влюбленным.

Читая романы, издаваемые г. Бреслауэром, он до того ими проникся, что верил в возможность подобных пожатий.

Но кто поймет женщину? Панна Ядвига не только не пожимала ему ногу, но смотрела на него так, как смотрят на забор, кошку, тарелку или еще что-нибудь в этом роде. Сколько он, бедняга, прилагал усилий, чтобы обратить на себя ее внимание! Часто, повязывая непередаваемого цвета галстук или надевая новую пару брюк со сказочными лампасами, он думал: «Теперь-то уж она меня заметит». Сам Сруль, когда принес ему эту новую пару, сказал: «Ну, в таких брюках можно даже, с позволения сказать, и к графине пойти». Но увы! Пригласили его к ним обедать; вошла панна Ядвига, гордая, чистая и неприступная, как королева, прошелестела всеми оборками и оборочками, потом села за стол, взяла своими тоненькими пальчиками ложку, а на него хоть бы взглянула.

«Неужели она не понимает, что это, наконец, стоит больших денег», – в отчаянии думал Золзикевич.

Однако надежды он не терял. «Получить бы мне местечко помощника ревизора, – думал Золзикевич, – все бы пошло иначе. А там и до ревизора недалеко. Завел бы я экипаж, пару лошадей, и уж тогда-то панна Ядвига, наверное, пожалала бы мне хоть руку под столом...» Мечты унесли Золзикевича к самым отдаленным последствиям этого рукопожатия, но уж таких сокровенных тайн его сердца мы раскрывать не будем.

Как богата была натура Золзикевича, можно судить хотя бы по той легкости, с какой в нем уживался «аппетит» к Репихе наряду с идеальным чувством к панне Ядвиге, чувством, поистине соответствующим его аристократическим наклонностям. Правда, Репиха была красавица в полном смысле этого слова; и все же не стал бы этот бараньеголовый донжуан подвергаться стольким неприятностям, если бы его не подстрекало непонятное, достойное наказания упорство этой женщины. Простая баба осмелилась сопротивляться! Кому же? Ему, Золзикевичу. Это казалось ему такой неслыханной дерзостью, что Репиха сразу же приобрела для него заманчивость запретного плода, но вместе с тем он дал слово проучить ее по заслугам. Происшествие с Кручком окончательно укрепило его в этом намерении. Он понимал, что жертва его будет защищаться, и для того и придумал добровольное соглашение Репы с войтом, чтобы хоть отчасти поставить в зависимость от его милости или немилости как самого Репу, так и его жену.

Репиха, несмотря на свою неудачу в суде, не считала, что псе уже потеряло. На следующий день, в воскресенье, она решила пойти к обедне в Вжецэндзы и там посоветоваться с ксендзом. Их было два: приходский священник, каноник Улановский, до того старый, что у него от старости глаза вылезали из орбит, как у рыбы, а голова качалась во все стороны. Но не его имела в виду Репиха, она решила обратиться за советом к викарию Чижикю. Был он человек благочестивый и разумный и мог дать ей добрый совет и утешение. Хотела было она пойти пораньше и поговорить с ним еще до обедни, но так как Репа содержался под арестом и работала она сейчас за двоих, то и опоздала. Пока она прибрала избу, пока задала корм лошади, свиньям и корове, пока приготовила завтрак и снесла его мужу в хлев, солнце поднялось уже высоко, и она убедилась, что к обедне ей не успеть.

Когда она пришла во Вжецэндзы, служба уже началась. Женщины в зеленых казакинах сидели па паперти и второпях надевали башмаки, которые принесли в руках; то же самое сделала и Репиха и поспешила в костел. В это время ксендз Чижик говорил проповедь, а каноник сидел в скуфейке на стуле возле алтаря и, выпучив глаза, тряс, по обыкновению, головой. Ксендз Чижик, неизвестно по какому поводу, говорил о средневековой ереси и объяснял прихожанам, как они должны смотреть на эту ересь и на буллу *Ex stercore*, ее порицающую. Затем весьма красноречиво и проникновенно предостерегал свою паству, людей простых и, как птицы небесные, убогих, а потому угодных богу, чтобы они не доверяли разным лжемудрецам и вообще людям, ослепленным сатанинской гордыней, которые сеют плевелы вместо пшеницы и за это будут пожинать только грех и слезы. Вскользь упомянул он о Кондильяке, Вольтере, Руссо и Охоровиче, не делая между ними никакого различия, и в заключение перешел к подробному описанию всевозможных неприятностей, каким будут подвергаться грешники па том свете. На Репиху сразу снизошла благодать, хоть она ни слова не поняла из того, что говорил ксендз Чижик. Она только подумала: «Ну, видать, что-то хорошее говорит, раз такой крик поднял, что пот с него градом катится, а народ разохался, будто все как есть сейчас дух испустят». Наконец проповедь окончилась и началась обедня. Ох, и молилась же бедная Репиха, молилась так, как никогда в жизни, и чувствовала, как у нее все легче и легче становится на сердце.

Но вот настала торжественная минута. Белый, как голубь, каноник, держа в трепещущих руках сияющую, как солнце, дароносицу, повернулся к народу, постоял некоторое время с полузакрытыми глазами и опущенной головой, как будто собираясь с духом, и, наконец, запел:

Тайна сия велика есть...

А народ сотней голосов дружно подхватил:

Преклоним колени!..

Грянул гимн так, что стекла задрожали, гудел орган, торжественно звенели колокола, перед костелом гремел барабан, в кадилъницах курился голубоватый фимиам. Яркие лучи солнца ударили в цветные стекла, переливаясь радугой в клубах ладана. Среди этого шума, гама, лучей и голосов изредка высоко вверху сверкала дароносица, которую ксендз, благословляя народ, то поднимал, то опускал. И тогда этот белый старичок, окутанный облаком дыма, пронизанного лучами солнца, казался со своей дароносицей каким-то небесным видением, от которого нисходили благодать и покой в сердца всех верующих. Эта благодать и великий покой осенили и скорбящую душу жены Репы.

– Господи Иисусе, тайно пребывающий в пресвятах дарах,– взывала она,– не остави меня, несчастную!

Она плакала, но это были уже не те слезы, которые душили ее у войта, а светлые, легкие, крупные, как калькуттский жемчуг. Она упала ниц перед алтарем, а потом уж и сама не сознавала, что с ней происходит. Ей казалось, что ангелы небесные подняли ее с земли, как листик, и вознесли на небо в обитель вечного блаженства, где не было ни Золзиковича, ни войта, ни рекрутских списков, а везде, куда ни глянешь, сияла заря и в ней престол господень, а вокруг престола в ослепительном свете летали роями ангелочки, точно птички с белыми крылышками.

Долго она лежала так, а когда поднялась, обедня уже кончилась, костел опустел, и дым из кадилъницы стлался под потолком; последние богомольцы выходили на паперть, а причетник тушил свечи. Перекрестившись, она пошла поговорить с викарием.

Тем временем ксендз Чижик уже сел обедать, но, когда ему доложили, что его хочет видеть какая-то заплаканная женщина, тотчас же вышел к ней.

Это был еще молодой человек, с бледным, но ясным лицом, у него был белый высокий лоб и мягкая, ласковая улыбка.

– Что тебе, голубушка? – спросил он тихим, но звучным голосом.

Репиха бросилась к нему в ноги и начала рассказывать о своем горе, плача и целуя ему руки. Затем подняла на него с мольбой заплаканные черные глаза и воскликнула:

– Ох, помогите, ваше преподобие, посоветуйте, только на вас я и надеюсь...

– И ты не ошиблась, голубушка, обратись ко мне,– ласково ответил ксендз Чижик,– но я могу посоветовать одно: положишься на волю божью. Господь испытует веру в него и порой испытует сурово, как Иова, которому собственные его собаки лизали гноящиеся раны, или как Азария, на которого он ниспослал слепоту. Господь бог ведает, что творит, и награждает истинно верующих. Несчастьем, выпавшим на долю твоему мужу, господь покарал его за тяжкий грех – пьянство. А потому благодари господя бога за то, что, покарвав его при жизни, он, быть может, отпустит ему

грехи после смерти.

Репиха посмотрела на ксендза своими черными глазами, поклонилась ему в ноги и тихо вышла, не проронив ни слова.

Всю дорогу ей казалось, будто что-то сжимает ей горло и душит ее. Ей хотелось плакать, но она не могла.

ГЛАВА VII

Имогена

Под вечер, часов около пяти, па главной улице между избами мелькали голубой зонтик, желтая соломенная шляпа с голубыми лентами и палевое платье с голубой отделкой. Это прогуливалась после обеда панна Ядвига в сопровождении своего кузена Виктора.

Панна была удивительно хороша собой. Волосы у нее были черные, глаза голубые, а цвет лица необыкновенной белизны. Одевалась она очень тщательно, и платья ее всегда были так изящны и свежи, что казалось, от них исходило сияние, и это придавало ей еще больше прелести. Ее стройный, девственный стан как бы парил в воздухе. В одной руке она держала зонтик, а другой придерживала платье, из-под которого виднелся краешек гофрированной белой юбки и прелестные маленькие вояжи, обутые в венгерские башмачки.

Шедший с ней рядом кузен Виктор с чуть пробивающимся пушком вместо бороды и копной кудрявых русых волос был: тоже красив, как картинка.

От них обоим веяло здоровьем, юностью, весельем и счастьем. И на обоих лежал отпечаток той высшей, праздничной жизни, жизни крылатых взлетов, которые уносят не только к внешним благам мира сего, но и в мир мысли, высоких стремлений и высоких идей, а порой и в лучезарный края золотых мечтаний.

Среди этих изб, деревенских ребятишек и мужиков, во всем этом убогом окружении они казались существами, слетевшими с другой планеты. Приятно было сознавать, что между этой изящной, развитой и поэтической парой и прозаической, серой действительностью полузвериного деревенского быта не существует никакой связи – по крайней мере, связи духовной.

Они шли рядом, беседуя о поэзии и литературе, как и подобает светскому молодому человеку и светской барышне. Встречавшиеся им люди в холщовой одежде, все эти мужики и бабы, наверное бы, не поняли, о чем и даже на каком языке они говорят. Не правда ли, как это приятно сознавать, господа?

В беседе этой блестящей пары не было ни одного слова, которое не повторялось бы уже сотни раз. Они перепархивали с книги на книгу, как мотыльки с цветка на цветок. Но такая беседа не кажется пустой и пошлой, когда она ведется влюбленными и служит основой, по которой любимое существо тклет золотые цветы своих чувств, лишь изредка раскрывая свой внутренний мир, подобно тому как белая роза, распускаясь, раскрывает пламенеющие лепестки, скрытые внутри. К тому же такая беседа, как птица, парит в небесах, витает в духовном мире и устремляется ввысь, как растение, вьющееся по тычине.

Где-то в корчме напивались мужики и в грубых выражениях говорили о грубых предметах, а эта пара словно плыла в иные края па корабле, у которого, как в романсе Гуно:

Руль золотой и прекрасный,
А шатер весь атласный,
И жемчуга на весле.

Нужно еще прибавить, что панна Ядвига кружила голову кузену только для практики, а в таких случаях чаще всего говорят о поэзии.

– Читали вы последнюю книгу Ель–ского? – спросил молодой человек.

– Знаете, Виктор,– отвечала панна Ядвига,– я обожаю Ель–ского. – Когда я его читаю, мне кажется, будто я слышу какую-то музыку, и помимо воли мне всегда вспоминается стихотворение Уейского:

Лежу на облаках,
Растаяв в тишине,
И слезы па глазах,
И сладко грезить мне.
Морская гладь вокруг...
Во сне ли, наяву,
Сомкнув ладони рук,
Лечу... плыву...

Ах,– внезапно воскликнула она,– если бы я с ним познакомилась, то, наверно, влюбилась бы в него! Мы, без сомнения, поняли бы друг друга.

– К счастью, он женат,– сухо ответил пан Виктор.

Пана Ядвига склонила головку, сложила ротик в улыбку, отчего на щечках у нее показались ямочки, и, искоса взглянув на него, спросила:

– Почему вы говорите: «к счастью»?

– Я говорю о тех, для кого жизнь потеряла бы тогда всю прелесть,– произнес молодой человек с самым трагическим видом.

– Вы мне слишком много приписываете...

Но пап Виктор уже перешел к лирике.

– Вы ангел...

– Ну... хорошо... Поговорим, однако, о чем-нибудь другом. Так вы не любите Ель–ского?

– Минуту тому назад я возненавидел его.

– Ах, как вы капризны! Вы заслуживаете, чтоб вас побили. Перестаньте дуться и назовите своего любимого поэта.

– Совинский... – мрачно пробормотал Виктор.

– А я попросту его боюсь. Ирония, кровь, пожары... дикие вспышки, бр-р!

– Такие вещи меня ничуть не пугают.

Сказав это, он посмотрел так грозно, что собака, выбежавшая из какой-то избы, поджала хвост и в ужасе попятилась назад.

Незаметно подошли они к дому, в окне которого мелькнули козлиная борода, вздернутый нос и ярко-зеленый галстук, затем остановились перед хорошеньким домиком, увитым диким виноградом, с окнами, выходящими на пруд.

– Смотрите, какой хорошенький домик! Это единственное поэтическое место во всей Бараньей Голове.

– Что это за дом?

– Раньше тут был приют. Здесь учились читать крестьянские дети, когда их родители работали в поле. Папа специально для этого велел выстроить этот дом.

– А теперь что в нем?

– А теперь в нем стоят бочки с водкой. Понимаете, времена изменились. Теперь мы с нашими крестьянами только соседи. Мы стараемся ничего общего с ними не иметь.

– Гм! – буркнул пан Виктор. – Но, однако...

Но он не договорил, остановившись перед большой лужей, в которой лежало несколько свиней, «справедливо названных так за свою неопрятность». Обходя ее, они очутились возле избы Репы.

У ворот на пне сидела жена Репы, подперев голову руками. Ее бледное лицо, казалось, окаменело от горя, веки покраснели, а потускневшие глаза тупо уставились куда-то вдаль.

Репиха даже не заметила проходившей мимо нее пары, но панна Ядвига, увидев ее, сказала:

– Добрый вечер!

Женщина поднялась и, подойдя ближе, повалилась им в ноги и молча заплакала.

– Что с вами, милая? – спросила панна.

– Ох, ягодка моя золотая, зорька ты моя румяная! Может, сам господь мне тебя послал! Заступись хоть ты за меня, радость ты моя!

И она принялась рассказывать о своей беде, поминутно прерывая рассказ и целуя барышне руки или, вернее, перчатки, которые сразу покрылись пятнами от ее слез. Панна Ядвига совсем растерялась. Ее хорошенькое серьезное личико выражало заметное смущение, с минуту она молчала, не зная, что делать, наконец нерешительно проговорила:

– Чем же я могу вам помочь, моя милая? Enfin![6] Мне вас очень жаль... Но у меня нет никакой власти... и я ни во что не вмешиваюсь... Правда... Чем я могу

вам помочь? Вы лучше пойдите к папе... Может быть, пана... Ну, прощайте.

И панна Ядвига, приподняв свое палевое платье так, что стали видны уже не только башмачки, но и белые в голубую полоску чулочки, пошла дальше вместе со своим кавалером.

– Благослови тебя бог, цветик ты мой ненаглядный,– крикнула ей вслед Репиха.

Эта сцена опечалила панну Ядвигу, и ее спутнику даже показалось, что у нее блеснули слезы па глазах.

Стараясь отвлечь ее от печальных мыслей, молодой человек заговорил о Крашевском и о других, менее крупных, рыбах литературного моря; разговор постепенно оживился, и вскоре они оба совершенно забыли об этой неприятной истории.

«Пойти в усадьбу? – раздумывала между тем Репиха. – Да, туда-то мне сразу и надо было идти! Куда же идти, где искать спасенья, если не в усадьбе?! Вот ведь глупая баба!»

ГЛАВА VIII

Имогена

В господском доме была веранда, увитая диким виноградом, с видом во двор и на тополевую аллею. На этой веранде господа летом после обеда пили кофе. По обыкновению, все собрались там и теперь, в том числе ксендз Улановский, викарий Чижик и акцизный ревизор Столбицкий. Пан Скорабевский, мужчина в меру полный и в меру красивый, с длинными усами, сидел на стуле и курил трубку; пани Скорабевская наливала чай, а ревизор, человек скептического ума, потешался над старым священником.

– А вот расскажите-ка нам, ваше преподобие, об этой славной битве,– говорит ревизор.

– Что? – спрашивает старик, приложив руку к уху.

– О битве,– уже громче повторяет ревизор.

– А... о битве... – протянул ксендз и, задумчиво поглядывая вверх, что-то прошептал, как бы собираясь с мыслями. Ревизор уже заранее приготовился смеяться, а все остальные молча ждали рассказа, хотя уже слышали его сотни раз, так как постоянно вызывали на него старика.

– Что же,– начинает Улановский,– был я тогда викарием, а приходским священником был ксендз Гладыш. Хорошо, говорю: ксендз Гладыш. Тот самый, что перестроил ризницу, царствие ему небесное! Только что кончилась поздняя обедня, я окликаю его. «Что?» – спрашивает он. «Да вот мне кажется, так это не пройдет». – «Да и мне кажется, отвечает, что так это не пройдет». Вдруг смотрим: из-за ветряной мельницы показались войска – кто на лошадях, кто пешком, тут знамена, там пушки... Я сейчас и подумал: «Ого!» А тут уж валят и с другой стороны. «Овцы, что ли?» – думаю. А это не овцы, а кавалерия. Как только эти увидели тех, так сразу же: «Стой!» Вдруг как выскочит из лесу кавалерия, эти сейчас вправо, те влево, эти тоже влево, те – за ними. Видят, плохо дело! Тогда и эти тоже на них! Да как начали стрелять, а тут вдруг из-за горы что-то блеснуло. «Видите?» – спрашиваю Гладыша. «Виджу»,– отвечает, а там уж пошли палить из пушек, из ружей... Эти – к реке, а те не пускают, этот того, а тот

этого. То те берут верх, то эти. Шум, гам, дым, а там и в штыки. Только показалось мне, будто эти стали сдавать. Я и говорю ксендзу Гладышу: «А ведь те побеждают». А он отвечает: «И мне кажется, что побеждают». Не успел я сказать, как эти пустились бежать, те за ними, и давай топить, да убивать, да брать в плен... Ну, думаю, конец... Нет, куда там! Вот именно, говорю, ну...

Старичок махнул рукой и, удобнее усевшись в кресле, впал в глубокую задумчивость, только голова его тряслась сильнее обыкновенного да глаза еще больше выкатились из орбит.

Ревизор смеялся до слез.

– Ваше преподобие, кто же с кем дрался, где и когда? – спросил он.

Каноник опять приложил руку к уху:

– А?

– Ох! Не могу, ведь как насмешил! – кричал ревизор, обращаясь к Скорабевскому.

– Не угодно ли сигару?

– А может быть, кофе?

– Ох! Нет, не могу, вот насмешил!

Смеялись из вежливости и почтения к ревизору и Скорабевские, хотя вынуждены были слушать этот рассказ слово в слово каждое воскресенье. Тем не менее все весело смеялись, как вдруг внизу послышался чей-то тихий, боязливый голос...

– Слава Иисусу...

Скорабевский поднялся и, подойдя к ступенькам, спросил:

– Кто там?

– Это я, Репиха.

– Чего тебе?

Репиха поклонилась настолько низко, насколько возможно было кланяться с ребенком на руках.

– К вашей милости пришла, пожалейте вы нас, сирот, не дайте в обиду!

– Оставьте вы меня хоть в воскресенье в покое! – прервал ее Скорабевский таким тоном, как будто она каждый день приставала к нему с просьбами. – Ты же видишь, что у меня гости; бросать мне их, что ли, ради тебя!

– Я подожду...

– Ну, и жди... не разорваться я«е мне!

С этими словами Скорабевский втиснул свою тушу обратно на веранду, а Репиха

смирненно пошла к садовой ограде и стала терпеливо ждать. Но ждать ей пришлось долго. Господа были заняты разговором, и до нее то и дело доносился веселый смех, который до боли сжимал ее сердце; ей, бедной, было совсем не до смеха. Но потом вернулась с прогулки панна Ядвига со своим кузеном, а потом все ушли в комнаты. Солнце уже склонялось к западу. Наконец па веранду вышел казачок Ясек, которого Скорабевский называл «Такой-сякой», и начал накрывать стол к чаю. Он переменял скатерть и расставил чашки, со звоном опуская в них ложечки. А Репиха все ждала и ждала. Она уже подумывала, не пойти ли ей пока домой и вернуться попозже, но боялась опоздать и, сев под забором, стала кормить ребенка. Ребенок насосался и уснул, но спал беспокойно: ему уже с утра нездоровилось. Да и Репиху тоже бросало то в жар, то в холод, и ломило все тело, но она ни на что не обращала внимания и терпеливо ждала. Наконец совсем стемнело, на небе взошла луна. Стол был накрыт, на веранде горели лампы, а господа все еще не выходили к чаю, так как барышня играла на рояле. Репиха стала про себя читать молитву ангелу-хранителю, а потом размечталась о том, как их спасет пан Скорабевский. Как он это сделает, она, конечно, не знала, но была уверена, что такой пан, как он, знаком и с комиссаром, и с начальником, а потому стоит ему только рассказать про все их беды, и – даст бог – все уладится. Если бы далее Золзикевич или войт вздумал ему противиться, уж пан-то нашел бы па них управу. «Всегда он был добрый и к людям жалостливый, так авось и меня так не оставит», – думала она. И она не ошибалась. Скорабевский действительно был добрый человек. Потом она вспомнила, что к ее мужу он был особенно милостив и, наконец, что ее покойница мать выкормила панну Ядвигу. Все эти мысли подействовали па нее успокоительно, и она приободрилась. «Пусть же люди говорят, что хотят, – думалось ей, – а как беда случится, куда же, как не в усадьбу?» То, что ей пришлось ждать уж несколько часов, казалось ей настолько естественным, что она даже не задумывалась об этом. Между тем господа вышли на веранду. Сквозь листву она видела, как барышня из серебряного чайника разливала чай, или, как говорила ее покойная мать, «этакую воду пахучую, от которой весь рот пропахнет». Потом все пили чай, разговаривали и весело смеялись. Тогда только Репихе пришло в голову, что в «господском сословии всегда счастливее живут, чем в простом», и, неизвестно почему, слезы опять потекли по ее щекам. Однако горечь эта скоро сменилась другим чувством: Такой-сякой стал подавать на стол одно за другим дымящиеся блюда, и Репиха вспомнила, что она голодна, потому что за обедом она ничего не могла взять в рот, а утром выпила только немного молока.

«Хоть бы косточки мне дали обглодать», – подумала она. Стоило только попросить, так не только дали бы ей косточки, но и накормили бы досыта – она это знала, но боялась беспокоить господ при гостях, чтобы барин не рассердился.

Наконец кончился и ужин. Ревизор сразу же уехал, а полчаса спустя п оба ксендза уселись в помещичью брчку. Репиха видела, как помещик посадил каноника, и решила, что теперь самое удобное время подойти к нему.

Экипаж тронулся, барин вслед крикнул кучеру: «Посмей только вывернуть на плотине, я тебе выверну!» – потом поглядел на небо, как бы желая узнать, какова будет завтра погода, и, заметив белевшую в темноте рубаху Репихи, спросил:

– Кто там?

– Это я, Репиха.

– А, это ты? Ну, говори скорей, что тебе нужно: уж поздно.

Репиха опять рассказала все с начала до конца.

Скорабевский молча слушал, попыхивая трубкой, и наконец сказал:

– Дорогие мои, помог бы я вам с удовольствием, если бы не дал себе слова не вмешиваться в волостные дела. Раньше, конечно, было дело другое... а теперь – ни вы ко мне, ни я к вам... Теперь вы мои соседи – и баста!

– Да, я знаю, – дрожащим голосом ответила Репиха, – а все думала, может, пожалеете вы нас... – И голос ее оборвался.

– Все это очень хорошо, – сказал Скорабевский. – Но что же я могу сделать? Слова своего я из-за вас не нарушу, да и к начальнику ради вас не стану обращаться. Он уж и так жалуется, что я его постоянно беспокою своими делами. Что я хотел сказать? Опять вам повторяю, что ничего теперь у нас с вами нет общего. У вас есть волостной суд, а если там вам не помогут, то к начальнику вам дорога так же хорошо известна, как и мне. Вы теперь там даже больше значите, чем я. Это вам не прежнее время, голубушка. Ну! Ступай с богом.

– Спасибо и на этом, – чуть слышно проговорила Репиха, кланяясь барину в ноги.

ГЛАВА IX

Имогена

Выйдя из заключения, Репа отправился прямо в корчму, а не домой. Что же, ведь известно, что всякий мужик с горя пьет. Из корчмы, движимый той же мыслью, что и жена, он пошел к Скорабевским и, как оказалось, сделал большую глупость.

В пьяном виде он не понимал, что говорит, и был чересчур настойчив. Когда пан Скорабевский изложил ему свой «принцип невмешательства», Репа не только не понял этого в высшей степени дипломатического принципа, но и со всей грубостью, свойственной мужикам, весьма непочтительно выразился о нем, за что его Скорабевский вышвырнул за дверь.

Вернувшись домой, он сам рассказал жене:

– Был я у барина.

– Что же, без толку?

– Поджечь бы их, собачьих детей! – И он стукнул кулаком по столу.

– Тише ты! Лучше скажи, что тебе сказал барин?

Отослал меня к начальнику... Чтоб его...

– Ну вот, видно, придется теперь ехать в Ословицы.

– И поеду! Или уж выше пана никого нет на свете?

Удивительное дело! После своего визита в усадьбу Репа даже о писаре и о войте не отзывался с такой страстной ненавистью, как о пане Скорабевском. Войт и писарь здорово ему навредили, но он понимал, что им это так и полагается. А вот пан – это другое дело, пан мог спасти и не захотел.

– Я и поеду,– подхватил Репа,– я ему покажу, что мы и без него не пропадем.

– Нет, уж сиди ты, горемыка, дома, лучше я поеду. Ты как выпьешь, так сейчас нагрубишь начальству и еще хуже сделаешь.

Репа сначала было не соглашался, но к вечеру пошел в корчму «заморить червячка», на другой день опять; тогда жена, не говоря ни слова, оставила все на волю божью и в среду, взяв с собой ребенка, отправилась в Ословицы.

Лошадь нужна была в хозяйстве, и баба решила идти пешком. Вышла она из дому еще до восхода солнца, так как до Ословиц было более двадцати верст. Она надеялась, что встретит по дороге добрых людей, которые ее подвезут, но не встретила никого. Часу в девятом утра, устав, она села отдохнуть на опушке леса, съела краюшку хлеба и пару яиц, которые захватила с собой в кошелке, и продолжала свой путь. Солнце начало сильно припекать, а потому Репиха, увидев арендатора Гершека из Вжецёндз, который вез гусей на продажу, стала его просить подвезти ее до города.

– Ступай себе с богом,– отвечал Гершек,– здесь такой песок, что конь и меня одного еле тащит. Хотя... дашь злотый, тогда подвезу.

Репиха только теперь вспомнила, что у нее в узелке была всего одна трехкопеечная монета; она было хотела дать ее Гершеку, но он засмеялся:

– Три копейки? Это тоже на земле не валяется, это тоже деньги. Ну-ну!

С этими словами он стегнул лошадь и поехал дальше. Между тем становилось все жарче, пот градом катился по лицу Репихи, но она, собрав все силы, продолжала идти и через час была в Ословицах.

Всякому, кто хорошо знает географию, известно, что, въезжая в Ословицы со стороны Бараньей Головы, нужно проехать мимо реформатской церкви, в которой раньше была чудотворная икона божьей матери и возле которой еще и поныне каждое воскресенье собирается целая вереница нищих, горланящих что есть мочи. Репиха пришла в будни и застала возле церкви всего лишь одного нищего; он высунул из-под лохмотьев голую ногу без пальцев, вытянул ее во всю длину и, держа в руке банку от ваксы, пел молитву пресвятой богородице.

Завидев прохожего, он перестал петь, но вытягивал дальше свою беспалую ногу и кричал так, словно с него кожу сдирали:

– Добрые люди! Подайте несчастному калеке! Дай вам бог хорошего здоровья!

Разглядев его, Репиха развязала свой узелок и, вынув оттуда монету, подала ее нищему со словами:

– Найдешь пять грошей сдачи?

Она собиралась дать ему только грош, по нищий, почувствовав в своей руке деньги, не захотел уж с ними расставаться и давай ругаться:

– Для бога пожалела! Смотри, и он тебе пожалеет счастья. Убирайся ты к лешему, пока цела!

Репиха подумала: «Пусть уж берет во славу божию!» – и пошла дальше.

Придя на рынок, она испугалась. Легко попасть в Ословицы, по заблудиться в них еще легче. Шутка ли, такой город! В незнакомую деревню придешь – и то приходится спрашивать, где кто живет, что же говорить об Ословицах?

«Ох, заблужусь я тут, как в лесу», – подумала Репиха. Но ей ничего иного не оставалось, как спрашивать у прохожих. Про комиссара она скоро расспросила, но, подойдя к его дому, узнала, что тот уехал в губернию. Что же касается начальника, то ей сказали, что надо его искать в присутствии. А где же это присутствие?

Ох, и глупая же баба! Да здесь, в Ословицах, где же еще? И она пошла искать присутствие в Ословицах. Долго она его искала, смотрит: стоит зеленый дворец, громадный – просто страх берет, с орлом на воротах, а перед ним видимо-невидимо экипажей, бричек и тележек. Репиха подумала, что здесь ярмарка.

– А где же тут присутствие? – спросила она какого-то господина во фраке и низенько поклонилась ему.

– Ты ведь стоишь перед ним.

Она собралась с духом и вошла в здание. Смотрит: везде коридоры, а в них налево двери, направо двери и впереди двери, еще и еще, и на каждой какие-то буквы. Репиха перекрестилась и, робко отворив первую дверь, очутилась в громадной комнате, разделенной перегородками, как костел.

За перегородкой сидел какой-то господин во фраке с золотыми пуговицами и с пером за ухом, а перед ним толпилась целая куча господ. Господа все платили, платили, а тот, во фраке, только курил папиросы и писал квитанции, которые и отдавал господам. Как кто получит такую квитанцию, так сразу и уходит. Репиха подумала, что здесь, наверное, нужно платить, и пожалела о своих трех копейках, а затем с робостью подошла к загородке.

Но там никто на нее и не взглянул. Репиха стоит уже час; одни уходят, другие приходят, часы за перегородкой тикают, а она все стоит. Понемногу народу становилось все меньше, и наконец все разошлись. Чиновник сел за стол и начал писать. Тогда Репиха осмелилась и чуть слышно проговорила:

– Слава Иисусу.

– Чего тебе?

– Господин начальник!..

– Здесь касса.

– Господин начальник!..

– Говорят тебе, здесь касса.

– А начальник-то где?

Чиновник указал другим концом пера на дверь и пробормотал:

– Там.

Репиха снова очутилась в коридоре. Там... но где же, где же это «там»? Дверей всюду не сочтешь, а в какую идти? Народу множество, все снуют взад и вперед; наконец видит: стоит в этой толпе мужик с кнутом. Репиха к нему:

– Отец!

– Чего тебе?

– Откуда вы?

– Из Вепшовиск, а что?

– Где тут начальник?

– Кто его знает!

Потом она спросила еще кого-то, с золотыми пуговицами, но уже не во фраке, а с продранными локтями. Тот даже не выслушал ее, а только буркнул:

– Некогда мне.

Репиха опять пошла в первую попавшуюся дверь; не знала она, бедняжка, что на этой двери было написано: «Вход посторонним воспрещается». К числу служащих она не относилась, а надписи, как я уже упомянул, не читала.

Она отворила потихоньку дверь – смотрит: пустая комната, под окном скамейка, на скамейке сидит какой-то человек и дремлет. Дальше дверь в другую комнату, а там расхаживают какие-то господа во фраках и мундирах.

Репиха подошла к тому, который дремал на скамейке. Его она меньше боялась: он ей показался попроще, да к тому же она заметила, что сапоги на нем были рваные.

Репиха дернула его за рукав.

Он вскочил и, только взглянув на нее, как крикнет:

– Нельзя! Пошла вон!

Бабенка – бежать, а он дал ей пинка и с силой захлопнул за ней дверь. Репиха в третий раз очутилась в том же самом коридоре.

Она села возле какой-то двери и с истинно крестьянским терпением решила здесь сидеть до конца света. «Может, кто и спросит меня», – думала она. Репиха не плакала, но поминутно терла глаза, потому что они у нее чесались, а коридор со всеми дверьми начал перед ней кружиться.

Между тем люди мелькали мимо нее то направо, то налево, хлопали дверьми, громко разговаривали – словом, шум и гам был такой, как на ярмарке.

Наконец господь все же смилостивился над ней. Мимо нее из дверей вышел степенный шляхтич, которого она не раз видела в костеле во Вжецёндзах. Наткнувшись на нее,

он спросил:

– Ты что здесь сидишь, а?

– Я к начальнику.

– Так здесь же судебный пристав, а не начальник.

Шляхтич указал ей на дверь в глубине коридора.

– Вот там, где зеленая дощечка, поняла? Но теперь не ходи к нему: он занят. Поняла? Подожди лучше здесь, он должен пройти мимо.

И шляхтич пошел дальше, а Репиха посмотрела ему вслед, словно это был ее ангел-хранитель.

Однако ей пришлось еще долго ждать. Наконец дверь с зеленой дощечкой с треском распахнулась, из нее вышел молодой военный и быстро, шумно зашагал по коридору. Ох, вот уж не нем сразу можно было узнать, что это начальник, потому что за ним вприпрыжку семенило несколько просителей, забегая то с одной, то с другой стороны, причем до ушей Репихи долетали восклицания: «Господии начальник! Господин начальник, одно только словечко! Будьте так добры!» Но он их не слушал и шел дальше. У Репихи в глазах потемнело при виде его. «Да будет воля господня!» – промелькнуло у нее в голове; она вышла на середину коридора и, упав на колени, загородила ему дорогу.

Начальник посмотрел на нее и остановился, а за ним и вся его свита.

– Что тебе? – спросил он Репиху.

– Ясновельможный началь...

Она не могла продолжать: от испуга у нее пропал голос и онемел язык.

– Что тебе? – повторил начальник.

– Да... да... я... насчет солдатчины.

– Что же, тебя, что ли, в солдаты забирают? – спросил начальник.

Просители, желая угодить начальнику, хором рассмеялись, но он попросил их замолчать, а потом нетерпеливо сказал Репихе:

– Говори же скорей, чего тебе надо, мне очень некогда.

Но от смеха этих господ Репиха окончательно потеряла голову и бессвязно забормотала:

– Бурак, Репа, Репа, Бурак... Ох!..

– Должно быть, напилась, – сказал один из присутствующих.

– Оставила язык дома, – прибавил другой.

– Да что же тебе нужно? – повторил начальник, выйдя из терпения. – Пьяна ты, что ли?

– Господи Иисусе, пресвятая богородица! – простонала Репиха, чувствуя, что последняя соломинка спасения выскользает у нее из рук. – Ясновельможный господин началь...

Но он действительно был очень занят: в это время уже начался рекрутский набор, было много дела, кроме того, по своему положению он должен был дать бал в Ословицах, а эту женщину он все равно не мог понять, поэтому он махнул рукой и воскликнул:

– Все водка, водка! А ведь совсем еще молодая и красивая.– И потом, обернувшись к Репихе, прибавил таким тоном, что она готова была сквозь землю провалиться: – Когда протрезвишься, обратись в волостной суд, а он пусть представит твою жалобу мне.

И поспешил дальше, а за ним и просители, повторяя:

– Господин начальник! Одно словечко, господин начальник!

Будьте так милостивы, господин начальник!

Но вот коридоры опустели. Везде стало тихо, только ребенок Репихи стал громко кричать. Наконец она очнулась, точно после глубокого сна, встала, подняла ребенка и каким-то чужим голосом принялась его убаюкивать:

– А-а, а-а, а-а!

Потом вышла на улицу. Небо заволокло тучами, где-то вдалеке гремело. Было душно.

Что происходило в душе Репихи, когда она шла снова мимо реформатской церкви, возвращаясь в Баранью Голову, я не берусь описывать. Вот если бы панна Ядвига очутилась в подобном положении, тут уж я написал бы сенсационный роман, в котором доказал бы самым ярким позитивистам, что еще существуют на свете идеальные существа. Но панна сумела бы разобраться в своих впечатлениях. Душевная скорбь выразилась бы у нее в не менее скорбных, а вместе с тем гораздо более драматических словах и мыслях. Этот порочный круг, глубокое и мучительное ощущение беспомощности, бессилия и насилия, роль листочка, сметенного бурей, глухое сознание того, что спасения ждать неоткуда, – все это, несомненно, вдохновило бы панну Ядвигу на самый драматический монолог, который мне бы осталось только записать, чтобы завоевать себе славу. А Репиха что? Этот простой народ, когда страдает, только страдает – и больше ничего. Репиха в руках жестокой судьбы, которая беспощадно преследовала ее, выглядела так, как выглядит птица, замученная злым ребенком. Она шла куда глаза глядят, ветер гнал ее, пот стекал по лицу – вот и все. Время от времени заболевший ребенок, открыв ротик, дышал так, как будто умирал, а мать шептала ему: «Ясек, сыночек мой любимый!» – и прижимала губы к его пылающему лобику. Она миновала реформатскую церковь и вышла в поле, но вдруг остановилась: навстречу ей шел пьяный мужик.

Тяжелые тучи все ниже нависали в небе, и в них затаилось что-то грозное, словно надвигалась буря. Все чаще сверкали молнии, но мужик ни на что не обращал внимания. Полы его кафтана развевались на ветру, шапка сдвинулась набекрень, он

шел, шатаясь из стороны в сторону, и горланил:

Пошла Дода в огород
Пастернак копать,
А я Доду палкой в ногу –
Дода удирать.
У-ду-ду! У-ду-ду!

Увидев Репиху, он остановился, раскинул руки и крикнул:

Ой, пойдём в лесочек,
Поцелуй разочек!

Он хотел ее облапить, но Репиха, испугавшись за себя и за ребенка, бросилась бежать. Мужик за ней, но спьяна не удержался на ногах и упал. Правда, он сразу же вскочил, но уже не пытался ее догнать, а схватил камень и с силой пустил ей вслед, так что в воздухе засвистело.

От внезапной жгучей боли в голове у Репихи потемнело в глазах, и она присела на землю. Однако, вспомнив о ребенке, побежала дальше. У креста бедняжка остановилась и, оглянувшись, увидела, что мужик был от нее на расстоянии по меньшей мере полуверсты и, шатаясь, направлялся к городу.

В эту минуту она почувствовала что-то странно теплое. Она дотронулась рукой до шеи, посмотрела на пальцы и увидела кровь.

Опять у нее потемнело в глазах, и она лишилась чувств.

Очнулась она у подножия креста, на земле. Вдруг вдалеке показался кабриолет из Осцешина, он быстро приближался, и вскоре Репиха увидела молодого пана Осцешинского. С ним была гувернантка из усадьбы.

Осцешинский не знал Репихи, но она не раз встречала его в костеле и сразу узнала. С трудом поднявшись, она хотела подойти к кабриолету и попросить молодого пана хоть ребенка подвезти, чтобы спасти его от бури, но не могла двинуться.

Между тем помещик поравнялся с ней и, увидев у креста незнакомую женщину, крикнул:

– Эй, эй, садись!

– Пошли вам господь...

– Да наземь, наземь!..

О, пан Осцешинский был шутник, вся округа знала его проделки. Уж он-то никого не пропустит по дороге; вот и с Репихой пошутил и как ни в чем не бывало покатыл дальше. Репиха услышала, как они весело смеялись с гувернанткой, потом видела, как целовались и, наконец, скрылись в темной дали.

Репиха осталась одна. Но недаром говорят: «Бабу да жабу и топором не убьешь»,–

через часок она поднялась и, хотя ноги у нее подгибались, все-таки пошла.

– За что же дитя страдает? Рыбка моя золотая! – то и дело повторяла она, прижимая к груди больного Яся.

Но вскоре у нее начался бред, и она забормотала, как пьяная:

– А в избе-то люлька пустая, а мой-то с ружьем пошел на войну...

Ветер сорвал у нее чепец с головы; густые волосы рассыпались по плечам, развеиваясь на ветру. Вдруг сверкнула молния, а вслед за ней где-то совсем близко ударил гром и запахло серой; она опустилась наземь и сразу очнулась. «И слово стало плотью!» – вскричала она в испуге и посмотрела на небо. Оно показалось ей до того грозным, беспощадным и разъяренным, что она запела дрожащим голосом: «Под твою защиту...» Какой-то зловещий медный свет, пробиваясь сквозь тучи, падал на землю. Репиха вошла в лес, но в лесу было еще темнее и страшнее. Время от времени поднимался вдруг шум, словно испуганные сосны шептались между собой. «Что-то будет? О господи!» И снова наступала тишина. Иногда в глубине леса раздавался чей-то голос; у нее мурашки пробегали по телу; уж не нечистый ли смеется в болоте, не лешие ли затеяли страшный хоровод и вот-вот явятся за ней... «Только бы из лесу уйти, – думала она, – а там сейчас мельница и Мельникова изба». Она бежала из последних сил, глотая воздух запекшимися губами. Между тем небесная плотина рухнула, над ее головой; дождь, смешанный с градом, полил как из ведра; сорвался ветер и понесся по лесу, сгибая сосны до земли; лес застилало дымкой, туманом, волнами дождя; дорогу уже нельзя было разглядеть, деревья гнулись, бились по земле, скрипели и тревожно шумели; слышался треск ветвей, стемнело.

Репиху покинули силы.

– Спасите, люди добрые! – простонала она слабым голосом, но никто ее не услышал. Вихрь спирал ей дыхание. Тогда она поняла, что ей отсюда не уйти.

Она сняла с себя платок, кофту, фартук, разделась чуть не до рубашки и укутала ребенка, потом увидела поблизости плакучую березу, подползла к ней на четвереньках и, положив ребенка на сухое местечко, упала наземь рядом с ним.

– Господи! Прими мою душу! – прошептала она и закрыла глаза.

Наконец буря утихла. Наступила ночь, тучи рассеялись, и кое-где показались звезды. Под березой все так же неподвижно белела фигура Репихи.

– Но-о-о!.. – вдруг раздался чей-то голос в темноте. Минуту спустя слышался стук колес и шлепанье лошадиных копыт по лужам.

Это Гершек, арендатор из Вжецёндз, продав в Ословицах гусей, возвращался домой.

Увидев Репиху, подошел к ней.

ГЛАВА X

Победа гения

Гершек усадил Репиху в телегу и хотел было везти ее в Баранью Голову, но по дороге встретился с Репой, который, догадавшись, что жену застигла буря, выехал ей навстречу.

Бедная женщина пролежала целые сутки, но на другие встала, потому что ребенок расхворался. Пришли кумушки, обкурили его освященными травами, а когда это не помогло, старая кузнечиха взяла решето и черную курицу и заговорила болезнью. Ребенку и в самом деле сразу стало легче, но беда была с Репой: он глушил теперь водку без всякого удержу, и не было никакой возможности с ним сладить. Странное дело: когда Репиха пришла в себя и спросила его о ребенке, он не только не выказал ей сочувствия, а грубо проговорил: «Шатайся больше невесть где, а ребенка пусть черти возьмут! Задал бы я тебе, если бы ты мне его загубила!» Эта неблагодарность вызвала у нее чувство глубокой горечи, она хотела было его упрекнуть, но не могла ничего сказать, а только посмотрела на него сквозь слезы и голосом, исходившим прямо из сердца, крикнула с страшной болью: «Вавжон!» Мужик так и вскочил с сундука и с минуту молчал, не смея взглянуть на жену, наконец заговорил, но уже совсем по-иному: «Марыся, дорогая, прости ты меня! Вижу, что понапрасну я тебя обидел». Он громко зарыдал и бросился целовать ей ноги; тогда и она заплакала. Он чувствовал, что не стоит такой жены. Но этот мир недолго продолжался. Горе, жгучее, как рана, разжигало их друг против друга. Репа, возвращаясь домой, пьяный или трезвый, не разговаривал с женой и садился на сундук, волком уставясь в землю. Так он просиживал часами, словно окаменев. Жена суетилась, работала, как и раньше, но тоже молчала. Иной раз им и хотелось заговорить, но оба испытывали какую-то неловкость. Так они и жили словно в обиде друг на друга, и в избе их водворилась могильная тишина. Да и о чем им было говорить, когда оба знали, что спасения нет и судьба их решена.

Прошло несколько дней. Репу стала преследовать какая-то страшная мысль. Он пошел к исповеди, к ксендзу Чижиху, но ксендз велел прийти на следующий день. А на следующий день Репа пошел не в костел, а в корчму. Люди слышали, как он спяна говорил, что раз бог не хочет ему помочь, так он продаст душу дьяволу. С тех пор все стали его избегать, и над его домом нависло какое-то проклятие. Злые языки уже поговаривали, что войт и писарь правильно сделали, сдав его в солдаты, потому что из-за одного такого негодяя может обрушиться кара господня на всю Баранью Голову. Кумушки тоже не плошали и стали рассказывать про Репиху всякие небылицы.

Как-то высох у Репы колодец. Репиха пошла к корчме за водой и по дороге услышала, как мальчишки говорили: «Вон солдатка идет!» А один даже сказал: «Не солдатка, а дьяволова жена!» Бедная женщина, не промолвив ни слова, пошла дальше, хоть и заметила, как они перекрестились, наполнила ведро водой – и скорее домой, а тут Шмуль стоит возле самой корчмы. Увидев Репиху, он вынул изо рта фарфоровую трубку, с которой никогда не расставался, и крикнул:

– Эй, Репиха!

Она остановилась и спрашивает:

– Чего вам?

А он:

– Были вы в суде?

– Была!

– Были у ксендза?

– Была!

– Были в усадьбе?

– Была!

– Были в присутствии?

– Была!

– И ничего не добились?

Репиха только вздохнула, а Шмуль продолжал:

– Ну, до чего же вы глупы! Наверное, во всей Бараньей Голове не найдется глупее вас! И зачем вы туда ходили?

– А куда же мне было идти? – возразила она.

– Куда? – повторил Шмуль. – А на чем у вас контракт? На бумаге. А не будет бумаги, так не будет и контракта; разорвите бумагу – и дело с концом!

– О господи, – говорит Репиха, – да будь она у меня, давно бы я ее разорвала.

– Так что же? Будто вы не знаете, что бумага у писаря? Ну, а я знаю хорошо, что вы много у него можете добиться. Он я же сам мне сказал: пусть, говорит, Репиха придет ко мне и попросит, так я, говорит, сейчас же бумагу разорву – и дело с концом!

Репиха ничего ему не ответила, только схватила ведро и пошла домой. Между тем во дворе стемнело.

Вечером пан писарь, уже полураздетый, в одном белье, задрав кверху козлиную бородку, лежал в кровати и читал «Тайны Тюильрийского дворца», издания Бреслауэра. Он читал сцену, в которой посол испанский Олозага целовал ножки королевы Евгении. Эта сцена была так чудесно написана, что писаря прямо подбрасывало на кровати.

Горит свеча, потрескивает муха в сале... Вдруг писарь слышит, как кто-то – стук! стук! – в дверь, но так тихо, что он едва ловит ухом этот стук.

– Кто там? – громко спросил он, сердясь, что ему помешали.

– Я, – ответил кто-то шепотом.

– Кто это «я»?

Голос пролепетал едва внятно:

– Я, Репиха.

Писарь вскочил и отворил дверь. Репиха вошла так робко, что хотела что-то

сказать – и не смогла. А он был добрый человек – Золзикевич – и ободрил ее. Хотя он и был не одет, он сразу же обнял ее, говоря:

– Ты за контрактом, Марыся?

– Да...

Тогда он притянул ее к себе, обнял крепче и поцеловал в дрожащие губы.

– А теперь что? – спросил он игриво.

Женщина побелела как полотно.

– Да будет воля божья, – шепнула она.

Пан писарь погасил свечу...

ГЛАВА XI

Конец страданиям

На небе уже скрылась Большая Медведица и заблестели звезды, когда дверь скрипнула и Репиха тихо вошла к себе в избу. Вошла и остановилась как вкопанная. Она думала, что Репа, по обыкновению, заночует в корчме, между тем он сидел па сундуке, подперев голову руками и уставясь в землю.

На очаге догорал огонь.

– Ты где была? – мрачно спросил Репа.

Она, не отвечая, повалилась ему в ноги и горько зарыдала:

– Вавжон! Вавжон! Ведь для тебя это, для тебя! На этакий срам пошла. Обманул он меня. Только надругался надо мной и прогнал. Вавжон! Ты-то хоть пожалей меня! Любимый мой! Вавжон!..

Репа достал из сундука топор.

– Нет, – тихо проговорил он, – уж теперь-то пришел конец тебе, бедняга! Уже не жить тебе больше, не видать света белого. Уже не будешь ты, бедняга, в избе сидеть, а будешь на погосте лежать... уж ты...

Она в ужасе поглядела на него.

– Ты что же, убить меня, что ли, хочешь?

А он:

– Ну, Марыся, не трать попусту времени, молись богу, ты, бедняга, и не почувешь боли...

– Да ты вправду, Вавжон?..

– Клади голову на сундук...

– Вавжон, помилосердствуй!

– Клади голову на сундук! – крикнул он уже с пеной у рта.

– О господи! Спасите! Люди добрые, спаси...

Раздался глухой удар, потом стон и стук головы об пол, второй удар и более слабый стон, потом третий удар, четвертый, пятый, шестой... На пол ручьем хлынула кровь, огонь в очаге погас. Репиха содрогнулась всем телом, потом вытянулась и так застыла.

Вскоре после этого кровавое зарево разлилось по небу, разорвав мрак: горели господские постройки.

ЭПИЛОГ

А теперь я скажу вам кое-что на ушко, милые читательницы. Репу не взяли бы в солдаты. Условия, написанного в корчме, было недостаточно. По, видите ли, мужики в таких делах мало смыслят, а интеллигенция благодаря своей нейтральности – тоже не многим больше, и следовательно... следовательно, Золзикевич, который все это понимал, мог твердо рассчитывать, что дело, наверное, затянется и страх бросит женщину в его объятия.

И этот великий человек не просчитался. Вы спросите, что с ним случилось? Да что же с ним могло случиться? Репа, после того как он поджег господские постройки, хотел отомстить и писарю, но на крик: «Пожар!» – проснулась вся деревня, и Золзикевич был спасен.

Таким образом, он и поныне занимает должность писаря в Бараньей Голове, но надеется, что в скором времени будет избран в судьи. Он как раз прочитал роман «Варвара Убрик» и надеется также и на то, что в самом недалеком будущем панна Ядвига пожмет ему руку под столом.

Оправдаются ли его надежды – покажет будущее.

1876

Примечания

1 Иначе (лат.).

2 Вольнодумцам (фр.).

3 Господ сенаторов (лат.).

4 Для блага общества (лат.).

5 Единогласно (лат.).

6 В конце концов! (фр.)